



всепи́рная исто́рия в рома́нах



Даниил **МОРДОВЦЕВ**

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ



Даниил Лукич Мордовцев

Москва слезам не верит

Серия «Всемирная история в романах»

*Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=139292
Москва слезам не верит. Повести: Вече; Москва; 2019
ISBN 978-5-4484-7933-5*

Аннотация

Старая Русь XV–XVIII веков в изображении писателя-историка Даниила Мордовцева колоритна и самобытна, а страсти, которые кипят на её просторах, достойны того, чтобы воспеть их в новой «Илиаде». Недаром автор, рассказывая о Вятской вечевой республике, сравнивает её с древней Троей, а Московское княжество, стремящееся подчинить непокорный город, уподобилось ахейцам. Но если уж воевать против Москвы, надо идти до конца, потому что не явишься с повинной. «Москва слезам не верит», – повторяют герои Мордовцева, и не только Вятке пришлось усвоить этот урок.

В сборник вошли три произведения автора, рассказывающие о разных периодах русской истории. «Москва слезам не верит» показывает нам XV век, «Сидение раскольников в Соловках» освещает годы царствования Алексея Михайловича, а «Наносная беда» рассказывает об эпидемии чумы 1770 года в Москве после очередной русско-турецкой войны.

Содержание

Об авторе	4
Москва слезам не верит	9
I. Калики перехожие	9
II. Про святорусскую старину	15
III. Хлынов справляет Радуницу	21
IV. Роковое решение	27
V. Бурное вече	34
VI. В тереме у Софьи Палеолог	39
VII. Осада Хлынова	45
VIII. Аристотель Фиоравенти и Елизарушка	53
IX. «Наш род от кесаря Аугуста»	59
X. Поздно!	64
XI. Хлынов обложен	70
XII. Последние судороги	76
XIII. Не выгорело	81
XIV. Хлыновская Кассандра	86
Сидение раскольников в Соловках	91
I. Буря на Белом море у Соловок	91
II. Черный собор и посол Кирша	103
III. Отбитый чернецами «вороп»	118
IV. Сиротская свечка перед господом	129
V. Огненный монах и послание Аввакума	142
Конец ознакомительного фрагмента.	155

Даниил Лукич Мордовцев
Москва слезам не верит
Сборник

Об авторе



Даниил Лукич Мордовцев

(1830 – 1905)

Известный русский и украинский писатель и историк Даниил Лукич Мордовцев родился 7 (19) декабря 1830 г. в слободе Даниловка быв. Ростовской губернии. Его отец был управляющим помещичьей слободой, мать – дочерью местного священника. Даниил был младшим ребенком в семье. Отец умер, когда малышу еще не исполнилось и года. Мальчик учился сначала у слободского дьячка, потом окончил окружное училище и саратовскую гимназию. В 1850 г. юноша поступает на физико-математический факультет Казанского университета, но его уговаривают перейти на историко-филологический факультет, откуда Даниил в следующем году переводится в Петербургский университет, по окончании которого уезжает в Саратов, где служит в губернской канцелярии и одновременно редактирует неофициальную часть «Губернских ведомостей». Пользуясь возможностью собирать разнообразный исторический и фольклорный материал, Мордовцев часто ездит по губернии. Часть собранного материала публикует в виде очерков в тех же «Губернских ведомостях». В 1859 г. вместе с Н. Костомаро-

вым публикует «Малороссийский литературный сборник», куда включает свои произведения на украинском языке. Первым значительным литературным произведением на русском языке стал исторический рассказ «Медведицкий бурлак» (1859).

В 1864 г. Мордовцев переезжает в Петербург, где поступает на службу в Министерство внутренних дел, но через три года возвращается в Саратов. В волжском городе он служит в комиссии народного продовольствия, попечительском тюремном комитете, губернской канцелярии и статистическом комитете. Наряду с этим Мордовцев занимается историческими исследованиями, публикуя свои статьи в таких солидных журналах, как «Русское слово», «Русский вестник», «Вестник Европы». В журнале «Дело» публикуются очерки Даниила Лукича «Накануне воли», где реалистично показаны жизнь и взаимоотношения крестьян и помещиков. Очерки эти вызывают неудовольствие начальства. Весной 1872 г. Мордовцева отправляют в отставку. Он снова едет в Петербург, где издает свои исторические труды «Гайдамачина», «Самозванцы и понизовая вольница», «Политические движения русского народа». В 1870-х гг. Мордовцев публикует в «Отечественных записках» ряд статей, написанных в полуюмористической форме от имени мистера Плумпудинга. Эти произведения пользовались большой популярностью.

С конца семидесятых годов писатель почти целиком посвящает себя историческому роману. Он обнаруживает здесь

недюжинную работоспособность. К лучшим произведениям писателя относят романы «Великий раскол», «Идеалисты и реалисты», «Царь и гетман», «Наносная беда», «Лжедмитрий», «Двенадцатый год», «Замурованная царица», «За чьи грехи?». Д. Мордовцев не раз выезжал за пределы Российской империи и умел рассказать о зарубежной жизни. Его перу принадлежат путевые очерки: «Поездка в Иерусалим», «Поездка к пирамидам», «По Италии», «По Испании», «На Арарат», «В гостях у Тамерлана» и пр. Мордовцев также был автором популярных культурно-исторических очерков: «Русские исторические женщины», «Русские женщины нового времени», «Ванька Каин», «Истории Пропилеи» и др. Собрание его сочинений, изданное в 1901–1902 гг., состоит из 50 томов.

Весной 1905 г. писатель заболел воспалением легких. Он уезжает сначала в Ростов, а потом в Кисловодск, надеясь, что кавказский климат вылечит его, но этого не произошло, и 10 (23) июня 1905 г. Даниил Мордовцев скончался. Его похоронили в Ростове-на-Дону, на Новоселовском кладбище, в фамильном склепе. В советское время интерес к творчеству «русского Вальтера Скотта» и «одного из самых читаемых в России беллетристов XIX века» резко упал. Только с начала 1990-х гг. снова стали выходить исторические романы этого неординарного писателя. Остается сожалеть, что он еще недостаточно известен современному читателю.

А. Москвин

Избранная библиография Д. Л. Мордовцева

«Знамена времени» (1869)

«Идеалисты и реалисты» («Тень Ирода») (1876)

«Великий раскол» (1878)

«Наносная беда» (1879)

«Лжедмитрий» (1879)

«Двенадцатый год» (1880)

«Царь и гетман» (1880)

«Сидение раскольников в Соловках» («Соловецкое сидение») (1880)

«Господин Великий Новгород» (1882)

«Замурованная царица» (1884)

«Видение в Публичной библиотеке» (1884)

«Москва слезам не верит» (1885)

«За чьи грехи?» (1891)

«Державный плотник» (1895)

Москва слезам не верит

Историческая повесть

I. Калики перехожие

В хоромы князя Данилы Щеняты, что у Арбатских ворот, идет пир горой, или, как поется в былинах, «заходилось пируваньице, почестей пир, собирались все князья, бояре московские».

– А где же, князюшка-сват, твои калики перехожие, что похвалился ими? – спросил боярин Григорий Морозов, сильно подвыпивший, но крепкий на голову и на ноги.

– А на рундуке... Ждут, когда почестен наш пир разыграется.

– Чего же ждать, дорогой тезушка, коли «княжеский стол по полустоле, за столом все пьяни, веселы», – сказал, ставя на стол свою чару, старый князь Холмский Данило Дмитриевич, победитель новгородцев на берегах Шелони-реки.

– Ладно... Веди калик, – кивнул хозяин старому дворецкому.

В столовую светлицу вошли трое калик перехожих: двое молодых и зрячих, а третий старый и слепой. Войдя, калики «крест клали по-писаному, поклон дали по-ученому» и, от-

кашлявшись, затынули:

Нашему хозяину-князюшке честь бы была,
Нам бы, ребятам, ведро пива дано:
Сам бы хозяйюшка с гостями испил
Да и нас бы, калик, ковшом не обнес.
Тада станем мы, калики, сказывать,
А вы, люди добрые, почетные, слушати,
Что про стары времена, про доселетняя.

Калики на минуту приостановились, и старший из них, слепой, достав из-за спины «домру», стал перебирать струны... Пирующие притихли: в мелодии слепца слышалось что-то внушительное.

По знаку дворецкого холопы поднесли певцам по ковшу пива. Те перекрестились, выпили, утерлись рукавами...

И вдруг с уст их полилось торжественное:

Из-за лесу, было, лесу темного,
Из-под чудна креста Леванидова,
Из-под бела горюч камня Латыря, —
Тут повышла-выходила, повыбежала,
Выбегала тут, волетала Волга-матушка,
Лесом-полем шла верст три тысячи.
А и много в себя мать рек побрала,
А что ручьев пожрала – счету нет,
Широко-далеко под Казань прошла,
За Казанью-то реку, Каму выпила,

А со Камушкой-то Вятку пожрала.
А той Вятке-реке честь великая:
Поит-кормит она славный Хлынов-град¹,
Что родной он брат граду Новугороду...

– Как! – остановил певцов боярин Морозов. – Хлынов – родной брат Новугороду?.. С какой такой родни?

– А как же, боярин, – отвечал слепец, спокон веку так повелось, от дедов и прадедов наших: Хлынов – меньшей братец Великому Новугороду.

– И мне то же сказывали новугородцы, – поддержал слепца князь Холмский. – Даже посадница Марфа про родство Хлынова с Новым-городом говаривала. И чудно так, словно сказка...

– Не сказка, боярин-батюшка, а быль исконная, – настаивал слепец.

– Так ты расскажи, старче, а мы послушаем, – возвысил голос хозяин и кивнул холопам...

Калики перехожие снова осушили по ковшу пива.

– Давно это было... – степенно начал слепец. – Не сто и не двести лет, а, може, с полутысячи годов тому будет. Воевал тогда господин Великий Новугород – чудь белоглазую. Все мужья новугородские, и стар, и млад, ушли на войну. Не год, не два воевали, а поди годов пять. И соскучились в Новугороде бабы по мужьям. Знамо, дело женское, плоть бабья

¹ Так назывался до 1789 года город Вятка, ныне – Киров.

несутерпчивая...

– Так, так... – угрюмо заметил боярин Морозов. – В Писании убо сказано: «Баба – сосуд сатаны».

– Не всякая баба такова, – возразил князь Холмский. – Ну а что же дале? – обратился он к слепцу. – Сказывай, старче.

– А тут, господа почестные, вышло как будто и по Писанию... – раздумчиво продолжал слепец. – Бабы-то Новгорода, точно горшком этим, чертовым, оказались... Со скуки-то по мужьям и сошлись многие из них, и боярские жены, и служилых людей, и смердки, – сошлись, так бы сказать, с молодью безбородою, что еще и в походах не бывали.

– А и не пять – ровно семь годков воевала тогда новгородская рать... – вступился, будто оправдывая что-то, один из молодых певцов. – Так, слышал, старики баяли.

– Ин пушай семь, – согласился слепец. В эти-ту семь годков жены новгородски и прижили с молодью деток. Как тут быть? Воротятся мужья, найдут приплод... Стало быть, либо в прорубь головой, либо...

– Так все мне и посадница Марфа сказывала, – подтвердил Холмский.

А слепец продолжал:

– Знамо дело: новгородцам не привыкать было стать ушкуи строить... И понастроили, оснастили, запаслись зельем пороховым, пушками со стен городских, захватили рухлядь, весь обиход, казну... помолились у Софей Премудрости Божией да и вышли Волховом-рекою в Ильмень, а Ильменем –

в Ловать-реку, а из Ловати переволоклись на Волгу...

– Точно, точно, – подтвердил князь Холмский. – Так и ушкуйники встарь дельвали.

– Да и Василий Буслаев со своею удалью... – сказывал хозяин. – Этот и до Ерусалима-града доходил, и в Ердань-реке крестился.

Все гости князя Данилы Щеняти заинтересовались рассказом слепца.

– Ишь ты!.. И впрямь, выходит, Хлынов-град Великому Новгороду брат.

Такой же разбойник, как и старший братец: что от него терпят вологжане, устюжане, каргопольцы, двиняне, даже тверичи – не приведи Царица Небесна!

– Надо бы его ускромнить, как ускромнили Новгород с другим его младшим «братцем» – Псковом.

– А поди и у них есть своя Марфа-посадница, у хлыновцев этих?

– Как не быть: везде баба! Сказано: «сосуд сатаны».

В это время князь Холмский обратился к боярину Шестаку-Кутузову:

– Онамедни на тебя, боярин, намекал великий государь... Кажись, тебя удумал государь послать под Хлынов с ратными людьми.

– Ой ли! – обрадовался тот. – Пошли, Господи! Пора бы и мне косточки поразмять.

В этот момент дверь столовой палаты растворилась и на

пороге показался новый гость... Его сухое, пергаментное лицо обличало либо великого постника, либо человека заработавшегося; зато этот усохший, иконописный лик освещали живые, ясные глаза.

– А! Кум Федор! – радостно воскликнул хозяин. – Добро пожаловать... Что так запоздал?

– У великого князя на духу был, – отвечал пришедший, кланяясь гостям князя Щенята.

– Добро... Выпей первее, куманек. На духу у государя был, чаю, умаялся... Он поп у нас строгий.

– А у тебя калики перехожие... – заметил пришедший. – Откедова?

– Их Хлынова-града.

– А!.. Из Хлынова? – И пришедший как-то загадочно улыбнулся.

К нему подошел князь Холмский.

– Ну, друже мой искренний, – сказал Холмский, – ты кстати пришел... Ты и великий книгочей, и голова твоя что вся царская дума... Ты нам порасскажешь про Хлынов-град.

Пришедший снова загадочно улыбнулся, взглянув на калик перехожих.

II. Про святорусскую старину

Пришедший был знаменитый думный дьяк Курицын Федор, правая рука государя и великого князя Ивана Васильевича III.

Когда дьяк поздоровался со всеми и перемолвился несколькими словами, князь Холмский снова заговорил с ним.

– Вот эти калики, – сказал он, – поведали нам, откуда пошла есть вятская земля и город Хлынов, как бы стольной ее град... О том, как беглые новгородцы, вышед своими ушкунями на Волгу, доплыли до Камы-реки... Но что ж смотрела Тверь? Тягалась с Москвою, а не могла перенять беглецов. А Нижний? А Казань?..

– Да Казани в те поры и не было, – отвечал дьяк. – Ее поставили уже татары, что, как стая волков, нагрянули на Русь-матушку. А новгородцы те, войдя в Каму, срубили тогда себе городок... Лесу там не занимать стать. Но тут, как говорит летописец, прослышали они, что еще дале есть привольные земли. Не все, а большая их половина, поплыли по Каме и доплыли до высокой горы. А на той горе, видят, стоит город, укрепа вотяцкая. Как быть? Укрепка сильная! А было это перед днем памяти святых Бориса и Глеба². И начали они молиться угодниками, чтобы помогли им добыть этот город, и

² 24 июля по старому, или 6 августа по новому стилю.

угодники помогли.

– Святители Борис и Глеб искони наши заступники перед Господом, – заметил Шестак-Кутузов. – Благоверному Александру Невскому они же помогли на проклятых свеев.

– Ведомо вам сие место? – спросил князь Щенята калик перехожих.

– Наши деды и прадеды назвали тот городок Болванским, – отвечал слепец. – Потому как они нашли тамotka болванов-богов вотяцких. Ныне тот городок Никулиным слывет.

А дьяк Курицын продолжал:

– И построили наши ушкуйнички в том Никулине церковь святых Бориса и Глеба, памятуючи их помощь себе. А те из них, беглых новгородцев, что первыми было осели на Каме, проведав о сем, поплыли вверх по Каме еще дальше, из Камы вошли в реку Вятку. Там в те поры сидели черемисы, и укрепа у них была городок Каршаров...

– Ладно, – перебил повествователя хозяин, – у тебя поди в горле пересохло...

Дворецкий тотчас налил дьяку чару вина и подал с поклоном.

Выпив чару, Курицын продолжал, точно читал по книге:

– Как добыть Каршаров? А святые Борис и Глеб на что?

И стали наши ушкуйники молиться угодникам, и угодники помогли. Напустили они на черемис видение, бытто на них идут несметные рати, и убоялись те, и убегли. И из Кар-

шаров стал городок Котельнич.

– Это уже опосля назвали его Котельничем, – заметил слепой калика. – Тамотка нашли наши деды медь и железо и учили делать котлы знатные. С той поры Каршаров и стал Котельничем.

– А что ж Хлынов-град, далеко ли еще до него? – спросил Морозов.

– Близехонько, – отвечал Курицын. – Сейчас доплывем.

И точно: вскоре узрели высокую гору, что при впадении в Вятку-реку реки Хлыновицы. Так они назвали ее потому, что по той реке водились неведомо какие дикие птицы, коих крик пришельцам слышался якобы так: «Хли-хли! Хли-хли!»

– Есть такая у вас птица? – спросил хозяин калик переходящих.

– Може, и есть, батюшка князь, только мы не ведаем, про которую птицу говорится, – отвечали те. – Може, выпь, може гагара...

– Узревши гору над рекою, – продолжал дьяк, – ушкуйники и возлюбили то место. И бысть новое тут чудо. Неведомо откуда пригнала, надо полагать, Небесная сила к тому месту такое великое множество готовых бревен, что было из чего срубить и детинец, и земскую избу, и церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня...

Боярин Морозов не вытерпел... Он ударил кулаком по столу и горячо проговорил:

– Нет, князя и бояре!.. Не Небесная то сила пригнала к ним те бревна, а сила нечистая. Коли Господь стал бы помогать бабам, которые закон поломали, мужей обманули, казну покрали! Знаю, нечистая сила... А все бабы сосуд сатаны! Стали бы угоднички помогать блудницам вавилонским, ни за какие молебны! А откедова они себе ионов добыли? Тоже, чаю, беглые... да с чужими женами.

В это время дворецкий тихонько доложил что-то своему господину.

– Гости мои дорогие! – обратился хозяин к пирующим. – Прослышала моя благоверная про ваш приход ко мне и похотела сама почтить вас медами сладкими.

– Слава, слава княгинюшке на добром хотении! – воскликнули все разом.

И тотчас из внутренних покоев дородная княгиня выплыла, точно лебедь белая, а за нею холопы с подносами, уставленными чарами с медом, и началось потчеванье с поклонами.

Угощая гостей, княгиня с любопытством поглядывала на калик переходящих, ради которых, собственно, она и вышла.

– Поднесите и странничкам, каликам переходящим, – сказала она холопам, обойдя с ними всех гостей.

Выпили страннички. Зрячие лукаво переглянулись, а слепец спросил:

– Про старину молвишь, княгинюшка?

– Про старину, старче Божий, – был ответ.

По струнам домры тотчас ударили пальцы старшего из калик перехожих – неожиданно сильные для старика быстрые пальцы, и он запел протяжно, торжественно, а зрячие подхватили:

Как на славной было, братцы, на Сафат-реке.
Нездорово, братцы, учинилось.
Помутилась славная Сафат-река,
Помешался славный богатырский круг:
Что не стало большого богатыря
Старого удала Ильи Муромца!
Уж вы, братцы, вы, товарищи!
Убирайте-ка вы легки струженьки
Дорогим суконцем багрецовым,
Увивайте-ка весельчики
Правитским красным золотом,
Увивайте-ка укрюченьки
Цареградским крупным жемчугом, —
Чтобы по ночам они не буркали,
Чтобы не подавали ясака
К тем алым людям – татаровьям...

Все сосредоточенно слушали стройное, за душу хватающее пение, княгиня сидела пригорюнившись и тяжело вздыхала, точно в церкви «на страстях». Это пелась былина о том, «как перевелись богатыри на святой Руси...».

Выехали в чисто поле все семь могучих богатырей с Ильей Муромцем во главе, и едва всесветный хвостун Алеша По-

пович громко воскликнул: «Подавай нам силу хоть Небесную, мы и с тою силою, братцы, справимся», как навстречу им «двое супротивников»... То были ангелы, и богатыри их не узнали. Завязался бой. Разрубил одного Алеша, а из одного стало двое!

Сколько богатыри ни рубили супротивников, а число их все удваивалось...

И богатыри от ужаса окаменели!

Калики переходжие кончили каким-то стоном:

С тех-то пор могучие богатыри

И перевелися на святой Руси!

Тут богатырям и старинам конец...

Княгиня, подперев щеку рукой, горько плакала...

III. Хлынов справляет Радуницу

Мы в Хлынове...

Над городом белая, ясная ночь севера, когда заря с зарею сходится. С ближайшего луга, что упирается пологим берегом в реку Вятку, несутся звуки веселых песен и визг «сопелий и свистелей», прерываемый иногда глухим гудением бубна. Слышны мелодичные женские хоры вперемежку с мужскими. Это хлыновцы справляют веселую Радуницу³, канун рождества Иоанна Предтечи.

В это время в самом городе мимо церкви Воздвижения Честного Креста, тихо бормоча про себя, пробирается старичок в одежде черноризца и с посохом в руке.

– Никак блаженный муж Елизарушка? – окликнул его женский голос.

Старик остановился и радостно проговорил:

– Кого я зрю! Благочестивую воеводицу Ирину... Камо грядеце в сию бесовскую ночь?

– И не говори, родной! И так-то горе на душе да думушки невеселые, а тут эта Радуница спать не дает. А иду я за

³ Чаще всего под словом Радоница (Радуница) подразумевают день поминовения усопших, «родительский день», во вторник второй недели после Пасхи. Однако есть и другие дни поминовения усопших. Этот был 23 июня по старому стилю, так как Рождество Иоанна Предтечи отмечается 24 июня по старому стилю. Радоница «весёлая», поскольку в языческой традиции об усопших, проживших долгую и достойную жизнь, вспоминали без печали.

моей ягодушкой Оничкой: убивается она по батюшке, так и пошла, чтобы горе размыкать, в церковь, помолиться и поплакать. Уж так-то она сокрушается по отце. А ты зачем в город да еще и на ночь?

– Бегу от беса полуночно: эти сопели да свистели с бубнами изгнали меня из моего скитка. Иду я теперь и повторяю про себя святые словеса отца Памфила, игумена Елизаровой пустыни: «Егда бо придет самый праздник Рождества Предтечева, когда во святую сию ночь мало не весь град возметется и в селях возбесятся в бубны и в сопели, и гудением струнным, и всякими неподобными играми сатанинскими, плесканием и плясанием, женам же и девам главами кивание, хребтами вихляние, ногами скакание и топтание... ту же есть мужам и отрокам великое падение, ту же есть на женское и девичье шатание блудное им воззрение, такоже есть и женам мужатым осквернение, и девам растление...»

– Ох, уж и не говори, Лизарушка-свет, – набожно качала головой та, которую назвали воеводицей. – На свет бы не глядели мои глазынки. А тут мой-то как в воду канул, с самого светлаго праздничка не подал о себе ни единой весточки.

– Да с кем, матушка? Да и то молвить: вить они в Казани около царя Ибрагима долгонько околачивались, договор с ним учиняли: стать заодно супротив князя московского Ивана Васильевича. Потом же в Москву отправились узнать-прознать обо всем...

– А коли мово-то с товарищи спознают там?

– Как их спознать? На Москве кого нет!

– Хоть и сказывал мне Исуп Глазатый, что, едучи с Москвы к Нижнему, он сустрел их на пути во образе калик переходжих, а все страшно.

– Точно, матушка, – подтвердил старичок, каликами переходжими они к Москве путь держали. А царь-от Ибрагим и грамоту им дал с тамгою, плечо о плечо татаровьям с хлыновцами добывать Москву. А все же не одобряю я сего. Хоша Пахомий Лазорев и похвалялся: «Давно-деи мы разве Золотую Орду пустошили, стольный их град Сарай на копье взяли и разорили? А Москва-деи Сараю сколько годов кланялась, дань давала, а московские князья холопами себя у тех ханов почитали... Не устоять-деи Москве супротив Хлынова и Казани.

– Ох-ох! – скорбела воеводица.

В это время из церкви вышли две девушки.

– Вот и Онюшка с Оринушкой...

Одна из девушек была белокурая красавица, высокая, стройная, с роскошною льняною косой, мягким жгутом падавшею до подколенных изгибов. Что придавало ее миловидному личику особую оригинальность и красу – это ясные черные, детски невинные глаза под черными же дугами бровей. Это и была Оня, дочь воеводицы.

Другая девушка была полненькая, черненькая, с синими, как васильки, глазами. Когда она улыбалась, сверкали ровные и белые, как кипень, зубки. Эта была Оринушка Бого-

дайщикова, приятельница Они.

Обе девушки подошли под благословение старичка.

– Здравствуйте, девоньки, – ласково заговорил он, перекрестив истово и погладив наклонные девичьи головки. – Молились, деточки?

– Молились, батюшка, – отвечали они.

– Благое дело творили, детки, – похвалил старичок. – А то, вон там, невегласи, вишь, как бесу молятся, – кивнул он головой по тому направлению, откуда несло пение и гудение веселой Радуницы. – Ишь расходилось бесовское игрище!

А «бесовское игрище» было, по-видимому, в самом разгаре. То веселились дети природы, совершая обрядовый ритуал, как во время Перуна, который, казалось, на мольбы новгородцев «выдибай, Боже!» сжалился над детьми природы, выплыл на берег Волхова и переселился на берега Вятки, где и ютился в зелени лугов града Хлынова.

Теперь бубны перешли в нестовое гудение, а пение в «неприятен клич». То уже была оргия несдерживаемой страсти: «хребтами вихляние, ногами скакание и топтание», женское и девичье «шатание» – бал детей природы, только не в душных залах, а среди цветов и зелени лугов, под бледным северным небом, которое, казалось, благословляло их...

– Про батюшково здоровье молилась, миленькая Они-сьюшка?

– Про батюшково, дедушка, – отвечала, потупляя лучистые глаза, Оня.

Но если б через эти лучистые глаза можно было заглянуть в девичье сердце, то там, рядом с лицом старого батюшки-воеводы, отразилось бы другое бородатое лицо, полное мужественной энергии. Но об этом знала-ведала только подушка. Оня да ее сорочка у сердца, трепетавшая при мысли об этом бородатом лице...

– И ты, девинька Оринушка, во батюшков след поклоны клала у Честнаго Креста Господня? – спросил старичок и у другой девушки.

– Да уж и не ведаю, дедушка, в котору сторону след батюшков, к Котельничу ли, ко Никулицину ли али ко Казани, – отвечала девушка.

Мать Они, воеводица, невольню вздрогнула и стала прислушиваться. С лугов, по-видимому, возвращались праздновавшие Радуницу, и отчетливо можно было слышать протяжное пение незнакомых голосов:

Аще кто из нас, калик перехожих,
Котора калика зоворуется,
Котора калика заплутуется,
Котора обзарица на бабину, —
Отвести того дородна добра молодца,
Отвести далеко в чисто поле:
Копать ему ямище глубокое,
Во сыру землю по белым грудям.
Чист-речист язык вынять теменем,
Очи ясныя – косицами.

Ретиво сердце промежду плечей...
Казнена дородна добра молодца
Во чистом поле оставити...

И мать Они, и старичок Елизарушка многозначительно переглянулись.

– Откуда бы сим каликам быть? – проговорил последний. – Это не из наших: голоса неведомые.

– А может, батюшка с... нашими, с товарищи, – тихо проговорила Оня и вся вспыхнула.

IV. Роковое решение

Сердце девушки не обманулось. Она узнала его голос...

Все четверо, стоявшие у церкви, пошли на голос калик переходящих. Вот они все ближе и ближе. Их всего трое. Один старый, слепой, с домрою за плечами. Двое других, помоложе, зрячие. Все с длинными посохами.

Увидав их, Оня бросилась навстречу, да так и повисла на шее у слепого.

– Батя! Батюшка! Родной! – шептала она, захлебываясь, но в то же время, по девичьему коварству, вся впиалась глазами в одного из зрячих.

У другого зрячего уже висела на шее Оринушка...

– Что, стрекозы, узнали своих? – радостно улыбался «слепой», открывая глаза и нежно отстраняя от себя Оню. – А там никто из радунян не признал нас.

И он подошел к матери Они, к той, что называли воеводицей.

– Здравствуй, старушка Божья! – сказал он, обнимая ее. – Здравствуй и ты, святой муж Елизарушка... Что? Знать, не ожидали гостей?

Это оказались те самые калики переходящие, которых мы видели в Москве, на пиру у князя Данилы Щеняти.

После обоюдных приветствий все двинулись к дому Ивана Оникиева, воеводы города Хлынова.

– Благо, никто нас там не признал, – говорил тот, который был слепым. – А уж наутро объявимся в земской избе, на вече, после благодарственного молебна у Воздвиженьи.

В доме воеводы калики перехожие сняли с себя каличье одеяние и явились в большую горницу в добрых суконных кафтанах, а тот, который был слепым, вышел в горницу в богатой «ферязи» с высоким «kozyрем»⁴, унизанным жемчугами, самоцветными камнями и бирюзой.

Оня с матерью и с Оринушкой хлопотали по хозяйству, и слуги под их руководством ставили на стол питания и яства, конечно, постные, так как дело было в Петров пост. На столе появились всяческие грибы, янтарные балыки, тешки и провесная белорыбица.

– Не взыщите, гости дорогие, – суетилась мать Они, – ночь на дворе, горячаго варева нетути, не чаяли, не гадали, что Бог пошлет гостей.

– Так, так... «гостей», говоришь... – улыбался тот, который был «слепым» и который, по всему, был в этом доме хозяином. Потом он приказал слугам:

– Теперь, ребятушки, идите спать. Мы и без вас жевать умеем.

– А как вы, девиньки, засветла повечеряли, так тоже ступайте баинькать, – сказала мать Они обеим девушкам. –

⁴ Ферязь – долгополый мужской кафтан с длинными рукавами и стоячим воротником, «kozyрем», который, как правило, носил декоративный характер и богато изукрашивался шитьем и камнями.

Утреть надо будет встать с колоколом.

И девушки, низко поклонившись, ушли в свой теремок, на вышку. Но Оня все-таки успела еще раз переглянуться с одним из пришедших.

– Кажись, с Божьей помощью дело налажено, – сказал хозяин. – Казанский царь Ибрагим давно адом на Москву дышит... Краше, говорит, быть мне улусником Хлынова-града, неже Москвы ненасытной, загребущей. И вот ево целовальная грамота граду Хлынову: на коране целовал и ротился, а мы ротились⁵ на кресте, целовали при всех мурзах.

Он вынул из-за пазухи небольшой сверток в зеленой тафте и положил на божницу, в золотой ларец.

– Вотяцкие князья нашей вятской земли тоже нашу руку держать ротились перед своими богами.

Старый Елизарушка упорно молчал. Он лучше всех знал Москву и железную волю князя Ивана Васильевича, который и от Золотой Орды отбил, прекратив выдачу ей постыдной дани, и Новгород упрямый подклонил под свою пяту и обрезал крылья независимым дотоле княжествам верейскому, ростовскому, ярославскому.

– А на Москве как повелось наше дело? – спросил он.

На этот вопрос быстро ответил ему тот, что с Оней переглядывался...

– Весь базар и государевы кружала-кабаки, и гостиные ряды покатывались со смеху и кидали нам в шапки деньги, ко-

⁵ Ротиться – клясться. От славянского слова «рота» – клятва.

гда мы пели:

Нейду, матушка, нейду, государыня,
Замуж за боярина:
Боярин-охотник, много собак держит,
Собаки борзья – холопи босые...

– А князи и бояре слушали ваши песни? – спросил далее старик.

– Еще как! И князь Данило Щемя, и князь Данило Холмский, и боярин Морозов Григорий, и боярин Шестак-Кутузов, и думный дьяк Курицын, а княгиня Щенятева слезами горячими обливалась, слушаючи о том, как перевелись на Руси богатыри.

– Мы и наверху, у самого великого князя пели, а ево сынишка, княжич Васюта, готов был с нами до Хлынова бежать, да только княгиня Софья Фоминишна не пушала малыша, – сказал третий из пришедших, отец Оринушки.

Хозяйка меж тем усердно угощала мужа и гостей и, подавляя вздохи, изредка поглядывала на старого Елизара, который почти ничего не ел и не пил, угрюмо слушая, о чем сообщали хозяин дома и его гости. Старик не одобрял того, что замыслили хлыновцы. Ему сочувствовала и мать Они. Ее пугала возможность войны с Москвою: она боялась и за мужа, и за свой родной город. Разве она мало выстрадала в молодых еще годах, когда в 1471 году хлыновцы, под предводительством ее мужа, учинили ушкуйнический набег на

столицу Золотой Орды, на Сарай? И хоть они это «добыли копьем» и взяли много добычи, однако ордынцы, скоро спохватившись, запрудили своими судами всю Волгу и под Казанью отрезали хлыновцам путь к отступлению. До Хлынова дошли тогда страшные вести об этом, и она чуть не умерла от страха и горя. И только Бог тогда Своими неисповедимыми путями спас смельчаков и ее мужа. Но тогда он был молод, вынослив. А теперь! Она холодела от одной мысли о будущем. Когда старый Елизар предостерегал хлыновских конюхов от опасных замыслов, несутерпчивый Пахомий Лазорев всегда кричал на вечах: «Молись Богу у себя в скиту, святой человек, а над нашими буйными головушками не каркай!»

– Будущей весной, – говорил хозяин, запивая брагой жирную тешку, – как только вскрыются реки, мы и нагрянем в гости к Ибрагимушке-царю с его мурзами, а дотоле всю осень и зиму снаряжать будем наши ушкуи да изготавливать таранье, чем бы нам Москву белокаменную на ворон взять.

– Да и пушек, и пищалей, и копий немало изготовим, благо железа нам и чугуна не занимать стать, – похвалился и тот богатырь, что переглядывался с Оней.

– А ядра, зелье и свинец на мне лежат, то моя забота с пушкарями, – говорил отец Оринушки.

Оринушка между тем и Оня не спали в своем теремке. Девушки были слишком взволнованы – и радостью, и опасениями того, о чем они догадывались. Недаром их выслали из

большой горницы.

В это время в теремок вошла старушка в простом шушуне и повойнике⁶.

– А вы, озорницы, не спите еще, ох-ти мне! – проворчала старуха.

– Не спится чтой-то, няня, – отвечала Оня.

– Али поздно с Радуницы вернулись? – спросила нянюшка.

– Нет, няня, мы и не были на лугу, не до того нам было, – сказала Оринушка. – А ты, чать, много зелья нарвала да коренья накопила?

– А как же, девынька, надо было закон соблюсти, не бурсурманка я какая!

– И приворотнаго зелья добыла, няня? – улыбнулась Оринушка.

– А добыла-таки, чтобы было чем нам женишков приворожить, мил-сердечных дружков. Все справила, как закон велит, – говорила старушка.

Об этом законе так говорит летописец: «В навечерие Рождества Предтечева, в ночь, исходят очавницы мужие и жены-чаровницы по лугам и по болотам, и в пустыни, и дубравы, ищучи смертные отравы, отравнаго зелия на пагубу человеком и скотом, ту же и дивия корения копают на повто-

⁶ Повойник – головной убор замужней женщины, который она носила по будням, в отличие от праздничного, более высокого и расшитого жемчугом и прочими украшениями кокошника.

рение мужем своим».

V. Бурное вече

Кто же были пришедшие в Хлынов калики перехожие?

Тот, который принимал вид слепого, был воевода города Хлынова, Иван Оникиев, муж Параскевы Ильинишны и отец Они. Другой, молодой богатырь, который переглядывался с Оней, был атаман в Хлынове, всегда осаживавший старого Елизара на вечеах. Это и был Пахомий Лазорев. Третий, отец Оринушки, тоже был атаман, по имени Палка (должно быть, Павел) Богодайщиков.

Утром на другой день, после обедни и молебна, едва воевода Оникиев с атаманами Лазоревым и Богодайщиковым объявили на вече о результатах своего путешествия в Казань и Москву, как из Москвы «пригнали» в Хлынов гонцы с увещательными посланиями от митрополита Геронтия, одно к «воеводам, атаманам и ко всему вятскому людству», а другое «к священникам вятской земли».

Снова ударили в вечевой колокол у Воздвиженья.

– Что тутай у вас приключилось, что вечной колокол заговорил вдругорядь? – спрашивал именитый хлыновец Исуп Глазатый, входя в земскую избу. – Али худые мужики-вечники заартачились с надбавкой мыта на воинскую потребу?

– Нету, Исупушка, – отвечал воевода, – не худые мужики-вечники, а на Москве попы да митрополиты зарятся на чужой каравай, рты пораззявали на хлыновский каравай.

– Руки коротки у Москвы-то, – презрительно заметил Глазатый.

Хлыновцы все более и более стекались к земской избе...

– Гонцы, слышно, из Москвы пригнали с грамотами.

– Чево Москве еще захотелось от нас, словно беременной бабе?

– Али разродиться Москва не сможет?.. Или Хлынов ей повитуха?

Скоро вся площадь около земской избы заполнилась народом. Впереди становилось духовенство с «большими» людьми, за ними «меньшие» люди и рядовые «мужики-вечники».

Из избы вышел воевода Оникиев с атаманами Лазоревым и Богодайчиковым. У воеводы было в руках два свитка с привешенными к ним печатями из черного воска.

Воевода поклонился на все стороны. Ему отвечали тем же.

– Мир вам и любовь, честные мужие града Хлынова! Мир и любовь всему людству вольных вятских земли! – возгласил воевода.

Он развернул один свиток, а другой засунул за петлицы ферязи.

– Увещательная грамота воеводам, атаманам и всему вятскому людству от московского митрополита Геронтия! – возвысил он голос.

– Сымать, что ли, шапки? – послышалось с разных сторон.

– Это не акафист, штоб шапки сымать! – раздался голос.

Это был голос радикала, пушкаря из кузнецов города Хлынова, по имени Микита Большой Лоб.

– Точно, не акафист, да и не лития, – пробурчал другой хлыновский радикал, поп Ермил, из беглых, – мы ишшо не собираемся отпевать Хлынов-град.

– Любо! Любо, батька! Ермил правду вывалил!

– Надвинь, братцы, шапки по уши! А то «сымать», ишь ты!

Воевода откашлялся и начал читать. Но начала послания за гамом из-за шапок никто не слышал, а когда гам поулегся, то хлыновцы услышали.

– «Вы, – читал воевода, – токмо именуетесь христианами, творите же точию дела злыя: обидите святую соборную апостольскую церковь, русскую митрополию, разоряете церковные законы, грубите своему государю, великому князю»...

– Какой он нам государь! – раздались голоса.

– Какое мы чиним ему грубство!.. Мы его и знать-то не хотим!

Вече волновалось. Радикал Микита грозил кому-то своим огромным кулаком. Поп Ермил посылал кому-то в пространство кукиш.

Воевода читал: «Пристаете к его недругам, соединяетесь с погаными, воюете его отчину, губите христиан убийством, полоном и грабежом, разоряете церкви, похищаете из них кузнь⁷, книги и свечи, да еще и челом не бьете государю за

⁷ Кузнь – кованая церковная утварь.

свою грубость».

Далее в своем послании Геронтий грозил, что прикажет их священникам «затворить все церкви и выйти прочь из вятской земли». Мало того, «он на всю вятскую землю шлет проклятие».

– Наплевать на его проклятие! – бесновалось вече.

– Его проклятие у нас на врату не виснет!

– Долгогривый пес на солнушко брешет, а ветер его брехню носит.

Воевода развернул другое послание митрополита, к духовенству всей вятской земли.

За неистовыми возгласами слышались только обрывки из послания.

– «Мы не знаем, как вас называть... Не знаем, от кого вы получили постановление и рукоположение...»

– Это не твое дело! Ты нам не указ! Почище тебя меня хиротонили! – как бы в ответ митрополиту орал поп Ермил.

– «Ваши духовные дети, вятчане, – читал воевода, – не соблюдают церковных правил о браках, женятся, будучи в родстве и сватовстве, иные совокупляются четвертым, пятым, шестым и седьмым браком...»

– А хуть бы и десятым! Наши попы добрые!

– Наш поп Ермилушка и вокруг ракитова куста обведет...

– Што ж, и поведу, с благословением! Кто Адама и Еву венчал? Ракитов куст в раю, знать...

– Ай да Ермил! Вот так загнул! В раю, слышь, ракитов

куст...

Воевода поднял свиток кверху и потряс им над головой.

– Слушайте конец, господо вечники! – крикнул он. –

«Аще вы, зовущиеся священниками и игуменами, попами, диаконами и черноризцами, не познаете своего святителя, то я наложу на вас тягость церковную...»

– Ишь ты, «аще»! Мы не боимся твоего «аща»...

Долго еще бурлило вече, но кто-то крикнул:

– Ко щам, братцы!

– Ко щам! Ко щам! «Ко щам с грибам!»

И вече разошлось.

VI. В тереме у Софьи Палеолог

В Москве, во дворце великого князя Ивана Васильевича, на половине его супруги, Софьи Фоминишны, рожденной Палеолог⁸, ярко играет солнце на полу терема княгини. Софья стоит у одного из окон своего терема и смотрит на голубое небо. С нею десятилетний сын, княжич Василий, будущий великий князь московский. Он сидит на полу и переставляет с места на место свои игрушки, лошадок, барабаны, трубы, свистульки, и тихо бормочет:

– Так батя собирает русскую землю... Когда я вырасту большой, я также буду собирать русскую землю...

– И голубое небо не такое, как то, мое небо, небо Италии... – тихо вздыхала княгиня.

– Ты что говоришь, мама? – спросил ее княжич, отрываясь от «собирания русской земли».

– Так, сыночек... Далекое вспоминала.

– Что далекое, мама?

– То, где я росла, вот как ты, маленькая еще.

– А... Знаю. Это тальянская земля. Мне тальянский немчин, дохтур, рассказывал, что там лазеревое море. А я моря

⁸ Палеолог Софья (Зоя) (1444–1504) – дочь правителя Мореи (греческого государства на Пелопоннесском полуострове) Фомы Палеолога, племянница последних византийских императоров Константина XI и Иоанна VIII. С 1465 г. жила в Риме, в 1472 г. состоялся ее брак с московским великим князем Иоанном III Васильевичем.

не видал... А ты, мама, видала лазоревое море?

– Видела, сыночек: я и росла у моря... И давно по нем скучаю.

– Вот что, мама... Когда я вырасту большой, то повезу тебя к лазоревому морю... Бате некогда: он собирается на Хлынов!

Княгиня горько улыбнулась... Она вспомнила, как однажды пела девушка из новгородских полоняников: «Уж где тому сбыться – назад воротиться...» Привыкла она к Москве, сжилась с нею, а все сердце свербит по бирюзовому морю, по далекому родному краю.

«Счастливые птицы, – думалось ей, – как осень, так и летят туда... А мне с ними – только поклон родине передать да весной, когда воротятся к моему терему, слушать, как щебечут они мне, малые касатушки...»

Вспомнила княгиня, как однажды, в Венеции, пристал один генуэзский корабль, и на нем оказалось несколько молоденьких полонянок, и когда она спросила, откуда они, ей сказали, что они с Украины, дочери украинских казаков, увезенные в Крым татарами и проданные в городе Кафе генуэзцам в неволю... Как она плакала, глядя на них... А вскоре и ее увезли на таком же корабле, словно полонянку, в эту далекую, чужую сторону. Чайки, казалось, плакали, провожая ее, а дельфины, выныривая из моря, шумно провожали ее...

Она сжала руки так сильно, что пальцы хрустнули, и ото-

шла от окна.

– О!.. – тихо простонала она.

– Ты что говоришь, мама? – спросил княжич.

– Это я, сынок, вспомнила свою молодость...

Да, она вспомнила свое девичество... Того – кто остался там, далеко-далеко... Оставался – когда ее увозили в Московию! Жив ли он? Вспоминает ли – он?..

В это время, грузно ступая твердыми ногами, обутыми в мягкий желтый сафьян, в покои княгини вошел Иван Васильевич.

– Что, Софья, бавит тебя наш Васюта? – улыбнулся он, постояв некоторое время в стороне, никем не замеченный: слушал, что говорил его сын:

– Помнишь, мама, как бате полюбилось, когда калики перехожие сказывали про Илью Муромца:

Не тычинушка в чистом поле шатается —
На добром коне несется-подвигается
Матерой, удалый добрый молодец,
Старый Илья Муромец да сын Иванович,
Ищет – не отыщет супротивника...

– Память у тебя, сынок, истинно княжеская, – одобрил он. – Хорошо, пригодится тебе – наследнику власти великого князя – такая память... – И, обращаясь уже к княгине, сказал: – Совет я держал сейчас с князем Холмским... Приспе час посылать рати ускромнять Хлынов.

– Ах, батя, почто ты на Хлынов сердитуешь? – прижался княжич к коленям отца. – Там такие калики переходжи...

– Постой, сынок, я и калик тебе добуду... Так вот. Кто поведет мои рати на супротивников, не вем. Указал я митрополиту Геронтию послать увещательныя грамоты к хлыновцам и ко всей вятской земле. Так – соглубили мне, моя отчина, хлыновцы, не добили мне челом за вины свои. Жалобы мне от устюжан и вологжан и двинян на них. Приспел час! Но кого послать!

– А Холмскаго князя Данилу... – отвечала княгиня. – Он и новгородцев ускромнил на Шелони, и крымцев отразил, и Казань добыл.

– Да добыча-то его в Казани не прочна: ноне царь тамошний с хлыновцами снюхался... Да и стар стал князь Данило, немощен. А путина-то до Хлынова немалая: не разнедужил-ся бы он, Данило Дмитрии, дело немолодое...

– Князя Щенятева разве? – развела руками княгиня. – Он не стар и доблестен, кажись.

– Уж я и сам не ведаю, либо Щеню, а либо боярина Шестака-Кутузова, – тоже разве л руками князь. – Попытать разве совету у Царицы Небесной?

– А как же ты попытаешь? – спросила княгиня.

– Жеребьевкой. Вырежем два жеребка из бумаги, напишем на одном: князь Данило Щеня, на другом: боярин Шестака-Кутузов. Скатаем оба жеребка в дудочки, зажжем у об-

раза Богородицы «четверговую» свещу⁹, положим жеребки в ладаницу, перетруся оные, и пушай невинная ручка отрочата Василия, сотворив крестное знамение, достанет который жеребок: который вынется, то и будет благословение Царицы Небесной...

Так и сделали. Поставили ладаницу с жеребками пред ликом Богородицы, встряхнув предварительно. Великий князь взял сына на руки, поднял к иконе.

– Перекрестись, сынок.

Мальчик перекрестился.

– Вымай один жеребок.

Тот вынул. «Вынутым» оказался боярин Шестак-Кутузов.

Уходя, великий князь сказал:

– По вестям из Казани, там хлыновских послов обманной рукой обвели. Хлыновскаго воеводу Оникиева с товарищи казанские мурзаки поставили пред очи не Ибрагим-хана¹⁰, который помер, а пред очи Махмет-Амин-хана, младшаго сына покойного...¹¹ А он помочи хлыновцам не даст.

– А! Махмет-хан!.. – обрадовался княжич. – Он подарил

⁹ Четверг на Страстной неделе, день распятия Иисуса Христа, считался днем очищения. Поэтому считалось, что «четверговая» соль, пережженная в четверг, «четверговая» свеча, горевшая в четверг и сбереженная до случая, помогают от болезней и напастей.

¹⁰ Ибрагим-хан оставался на престоле Казанского ханства с 1467 по 1478 г.

¹¹ Мухаммад-Амин, сын хана Ибрагима. После его смерти находился на казанском престоле до 1496 г. С 1497 г. – служебный хан на Руси (владел Серпуховом), с 1502 по 1518 г. вновь на казанском престоле.

мне эту саблю, когда был на Москве и являлся к тебе на очи.

И мальчик показал матери маленькую саблю в дорогой оправе с яхонтами и бирюзами.

VII. Осада Хлынова

Настало время, и московские рати, предводительствуемые бояром Шестаком-Кутузовым, обложили Хлынов.

Шестак-Кутузов горячо повел дело. Чтобы взять укрепленный город «на ворон», необходимо было иметь осадные приспособления: и каждой сотне ратных людей он приказал плести из хворосту высокие и прочные плетни, которые заменяли бы собою осадные лестницы.

И ратные люди принялись за дело. А всякое дело, как известно, спорится то под песни, то под вечную «дубинушку», которая так облегчает гуртовую работу, особенно при передвижении больших тяжестей.

И вот уже с поемных лугов доносятся до слуха запершихся в стенах хлыновцев московские песни. Со всех сторон пение... От одной группы ратников несется звонкий голос запевалы, который, указывая топором на городские стены, заводит:

Куколка, куколка!

А хор дружно подхватывает:

Боярыня куколка!

Зачем вечер не далась?

Зачем от нас заперлась?

– Побоялась тивуна,

Свет Оникиева.

– Тивун тебе не судья:

Судья тебе наш большак —

Свет Иванович Шестак, —

Свет Кутузов сам...

От другой группы работавших ратников доносилось:

Разовьем-ка березу,

Разовьем-ка зелену...

От третьей неслась плясовая:

Ой, старушка без зубов,

Сотвори со мной любовь!

– Ишь охальники! – ворчали стоявшие на городских стенах хлыновцы. – И соромоти на них нету.

– Какая там соромота у идиолов толстопярых!

– Погоди ужо, я вам! – грозил со стены огромным кулаком Микита-кузнец. – Ужо плюнет вам в зенки кума Матрена! – разумел он свою пушку.

Вдали, на возвышении, господствовавшем над местностью, белелась палатка московского воеводы.

Шестак-Кутузов, сойдя с возвышения, подходил с своими подначальными к городским стенам, как раз там, где стояли

на стенах хлыновский воевода Оникиев с атаманами Лазоревым и Богодайщиковым. Вдруг он в изумлении остановился.

– Да никак это калики перехожие, что на Москве у князя Щенятева, а опосля и у меня гащивали! – сказал он, всматриваясь.

– Да они же и есть! – говорили московские вожди. – И вся Москва спознала бы... Ах, идола! Они и есть. А токмо тот, что был слепым, тепер зрячим объявился. Так вот они кто, аспиды.

– Здорово живете, калики перехожие! – закричал им Шестак-Кутузов.

– Твоими молитвами, боярин, – отвечал Пахомий Лазорев.

– Прймайте нас в гости, как мы вас на Москве примали, – сказал Шестак-Кутузов.

– Милости просим нашей бражки откушать да медку сычёново, гости дорогие, – отвечал воевода Оникиев.

– Да я не Христос, чтоб войти к вам «зверем затворённым»¹², – сказал Шестак-Кутузов.

– Войдем, боярин, и так, – проговорили своему воеводе московские вожди.

И они стали обходить вокруг стен, высматривая, где удобнее будет идти «на вороп».

Между тем рядом с отцом на стене показалась Оня.

¹² Затворённый (др.-рус.) – убитый. Смысл фразы: «не Христос, чтобы отдаться в руки, как агнец, на заклание».

– Батюшка-светик! Что же это будет? – говорила она, ломая руки.

– Что Бог даст, дочка, то и будет, – отвечал тот.

Со стены видно было, как с московских судов, причаливших к берегу Вятки, ратные люди выкатывали на берег бочки со смолою, а другие складывали вдоль берега кучи сухой бересты.

– Вишь, идола, сколько березоваго лесу перевели для бересты, – сказал Лазорев.

– Для чего она, батюшка? – спросила трепещущая Оня.

– Нас жечь-поджигать, Онисья Ивановна, – отвечал Лазорев, и энергичное лицо осветилось светом ласковых глаз.

Оня упала перед отцом на колени и сложила, точно на молитву, руки.

– Батя! батюшка! – молила она. – Смири свое сердце! Пощади родной город, пощади нас, твоих кровных!.. Пропадет наш милый Хлынов!.. И дедушка Елизарушка говорит то же... ох, Господи!

...Так говорила хлыновская Кассандра¹³, предвидя гибель родного города. А это предвидение внушил ей хлыновский Лаокоон¹⁴, старец Елизарушка-скитник. Да вот он поднялся на городскую стену и сам...

¹³ Кассандра – дочь царя Трои Приама. Аполлон наделил ее пророческим даром, но, отвергнутый ею, сделал так, что в предостережения Кассандры никто не верил.

¹⁴ Лаокоон – жрец, который во время осады Трои тщетно предостерегал троянцев не делать того, что может помочь грекам захватить их город.

– Опомнитесь, воеводы, – убежденно, страстно говорил старец. – Истинным Богом умоляю вас, – опомнитесь! От Москвы вам не отбиться... Говорю вам: аще сии вой не испепелят в прах град ваш, вон сколько они заготовили на погибель вашу смолы горючей и бересты, то вдругорядь придут под ваш град не одни москвичи, а купно со тверичи, вологжаны, устюжаны, двиняны, каргопольцы, белозерцы, а то белозерцы придут и вожане... Все они давно на вас зло мыслят за ваши над ними обиды... Придут на вас и новгородцы за то, что ваши ополчения дали помочь князю московскому, когда он доставал Новагорода, добивал извечную вольность новгородскую... Ныне в ночи бысть мне видение таково: в тонце сне узрех аз, непотребный, оли мне, грешному! Узрел я себя в Москве, на Лобном месте, и вижу я... страха и ужаса исполненное видение! Вижу три виселицы и на них тела висящи: твое, Иванушко, и твое, Пахомушко, и твое, Палки Богодайщикова... о, Господи!

Он остановился и посмотрел на московский стан.

– Видите, видите!.. – говорил он. – Уж волоку плетни к стенам... Не медлите и вы: вам ведома московская алчность, посулами да поминками с Москвою все можно сделать... Заткните московскому воеводе глотку золотом. Казань же вам изменила, сами знаете: молодой царь казанский Махмет-Амин-хан сам стал улусником князя московского.

Речь старика подействовала на вождей города Хлынова.

– А! Прах его возьми!.. – сдался наконец глава Хлыно-

ва, нежно поднимая стоящую перед ним на коленях дочь. – Не стоит рук марать и город жечь. Тащите казну, волоките, братцы, меха со золотом червонным. У нас злата хватит и на предбудущее, а заткнуть глотку Москве чего легче! Выйдем к ним со золотом, да с бражкой пьяной, да с медами сычёными¹⁵.

В это время мимо того места, где стояли на стене вожди Хлынова, опять проходил боярин Шестак-Кутузов со своею свитой.

– Слушай, боярин! – крикнул ему со стены воевода Хлынова. – Примай нас, гостей твоих... Мы непомедля, спытавшись у веча свово, выйдем к вам добивать челом великому князю московскому, Ивану Васильевичу.

– Ладно, – был ответ, – давно бы так.

Скоро загудел в городе вечевой колокол. На предложение воеводы «добить челом московскому князю, жалеючи града Хлынова и крови христианской», вече дало свое согласие, несмотря на крики радикалов, кузнеца Микиты и попа Ермила: кому-де охота отдавать город на сожжение, «на поток и разорение...».

Спустя немного времени ворота Хлынова отворились, и из них показалась процессия.

Впереди выступал протопоп от Воздвиженья с крестом в руках, а рядом с ним хоругвеносец с хоруговью. За ними во-

¹⁵ Сычёные – настоянные на ягодах, то есть малиновый мед, смородиновый мед и т. д.

жди Хлынова: Оникиев, Лазорев и Богодайщиков. Рядом с отцом шла хлыновская Кассандра, хорошенькая Оня с вплетенными в чудную ее косу алыми и лазоревыми лентами.

За ними выступили холопы Оникиева с кожаными мехами, полными золота, с огромными кувшинами пьяной браги и медов сучёных и с большим золотым подносом «кузнь сарайская», добытым при разорении ушкуйниками Сарая в 1471 году.

– А, здравствуйте, калики перехожие! – весело сказал Шестак-Кутузов, приложившись к Распятию. – Здравствуй, и красная девица! Добро пожаловать.

Все были поражены красотой девушки, а больше всех сам Шестак-Кутузов.

– Или, добрые люди, приняли меня за змеище-горынчище, что вывели ко мне красную девицу на пожрание? – говорил он, не сводя восторженных глаз с раскрасневшейся девушки. – Такой красавицы и Змей Горыныч не тронул бы.

Между тем холопы подали Оне поднос, «кузнь сарайская», уставленный чарами с брагой и медами, и она с поклоном подошла к Шестаку-Кутузову, вся зардевшись.

– Пригубь чару прежде сама, красна девица, – с улыбкой говорил московский боярин, – а то, может, в чаре зелье отравное... – И сам поднес к губам Они чару с медом.

Она пригубила. После того поднос с чарами обошел и остальных московских вождей. В то время как золото принималось и подсчитывалось в стороне...

Так «добил челом» вольный Хлынов-град московскому великому князю Ивану Васильевичу.

VIII. Аристотель Фиоравенти и Елизарушка

Хлынов покорился только наружно.

Едва московские рати удалились из вятской земли, как хлыновцы с истовым рвением принялись строить новые суда и вооружаться. Прежде всего они порешили наказать казанцев за их коварство, низложить с престола и казнить Махмет-Амин-хана и, призвав на царство ногайского князя Махмет-хана, в союзе с ним идти на Москву.

– Хлынов-град не потерпит поруги, – говорил на вече Пахомий Лазорев. – Ежели мы ноне повинную якобы принесли Москве, и то с той причины, что мы не готовы были к отпору. И та нам повинная не в повинную.

– Любо говорит Пахомий, любо! – возвышал голос поп Ермил. – Москва Хлынову не указ. Ежели Господин Великий Новгород подклонился под московское ярмо, так потому, что там вечем правила баба, кривое веретено.

– Правда, правда! – гремел голос Микиты-пушкаря.

Скоро о происходящем в Хлынове дошли вести до Казани. Встревоженный этим, Махмет-Амин-хан отправил посольство к великому князю с дорогими подарками, а маленькому княжичу Василию прислал хорошо обьежженного арабского коня с дорогим чепраком, унизанным бирюзой и сапфиром, и для ухода за конем – ногайского наездника.

Между тем из Хлынова внезапно исчез старец Елизар. Думали, что для спасения своей души он удалился в глубь лесов.

Но все ошиблись.

В конце июля, под вечер, к стоявшему на Красной площади небольшому, красивой архитектуры, дому подошел странник в одежде монаха. Дом этот принадлежал Аристотелю Фиоравенти¹⁶, знаменитому строителю московского Успенского собора, соотечественнику великой княгини Софьи Фоминишны.

На крыльце странник вдруг столкнулся с хозяином. Аристотель Фиоравенти от удивления так и остолбенел.

– О! – воскликнул он. – Я вижу чудо!.. Это ты, блаженный Елеазар?

– Я, синьор маэстро, – отвечал странник.

– Какими судьбами? Откуда и куда?

– Вожим изволением пришел я, грешный, из родного града, из Хлынова, к тебе, милостивец.

– Так войди в мой дом, гостем будешь, – сказал итальянец.

– Може, не вовремя гость хуже татарина? – улыбнулся пришелец.

– Нет, нет... Я рад тебе.

Когда Аристотель Фиоравенти строил Успенский собор,

¹⁶ Аристотель Фьораванти, архитектор Успенского собора, построенного в Кремле в 1479 г. на месте одноименного старого.

московский первостатейный гость Елизар Копытов был правою рукою маэстро Фиоравенти. Все строительные материалы для невиданного на Руси храма – камень, железо, лес, кирпич, артели каменщиков, плотников, штукатуров, глину, песок, известь – все доставлял гениальному зодчему «московский первостатейный гость Елизар Копытов», богатейший во всем Московском государстве купец.

Родившись в Хлынове, молодой Копытов сначала вел торговлю «пушшиной», дорогими мехами севера России и Сибири, и торговля эта с каждым годом ширилась. Копытов запрудил своею «пушшиной» все Поволжье, Астраханское царство, Золотую Орду, земли ногайские, Казань, Нижний, Москву, Новгород, одевал своими дорогими мехами Европу, нажив баснословные богатства.

Когда великий князь московский Иван Васильевич вызвал из Италии для сооружения Успенского собора знаменитого зодчего Аристотеля Фиоравенти с целым штатом опытных итальянских каменщиков и формовщиков и когда глубоко религиозный Копытов, потерявши жену и сына, узнал об этом, то переселился со своими богатствами в Москву и весь отдался храмостроительству. Без него знаменитый итальянский зодчий, без его знаний московского люда, без его подрядческой опытности, без его богатства был бы как без рук. Даже московское правительство, все силы и казну отдавшее на «собрание русской земли», не могло предоставить великому зодчему того, что предоставил ему хлыновец Ко-

пытов. Это знала племянница последних византийских императоров, великая княгиня Софья Фоминишна – и не могла не удивляться всему, что творил для своей столицы русский человек, выходец из далекого Хлынова. Впрочем, перед Копытовым охотно снимали свои «горлатные» шапки¹⁷ все московские бояре – до князя Холмского включительно.

Когда Успенский собор, гордость тогдашней Москвы и «всеа Русии», был окончен постройкой, Елизар Копытов, раздав остальные свои богатства монастырям, затосковал по улицам, по которым бегали когда-то его маленькие детские ножки, затосковал по своей реке Вятке, в которой он маленьким купался и рыбу удил, затосковал по лугам и лесам своей родины, где пели его соловьи... И – ушел в Хлынов, поселился, как отшельник, в небольшом убогом скитке. Оттуда при восходе солнца он мог видеть родной город и молиться на золоченые кресты церкви, в которой его самого когда-то крестили ребенком – церкви Воздвиженья Честного Креста.

И вот когда его родному городу угрожала гибель, он метнулся в Москву ходатайствовать за него – и первым делом постучался в дверь своего друга, строителя Успенского собора, которого великий князь ставил выше всех своих вельмож и родовитых князей Рюриковичей, потому что этот «та-льянский немчин» научил Русь чеканить монету, отливать большие колокола и управляться с пушкарским делом. Вво-

¹⁷ Горлатные шапки – высокие шапки, сделанные из меха, взятого с шеи (горла) зверя. Чаще всего – соболя.

дя странника в свои покои, Фиоравенти все не мог успокоиться:

– О! *Tertius e coelo cecidit Cato...*¹⁸ Сия поговорка у нас молвится, когда увидишь неслыханное чудо. А ты, *domine*¹⁹ Елезар, был для меня чудом и остался чудом.

– *Vene, bene*²⁰, синьоре, – бормотал Елизар, который, обращаясь с итальянскими каменщиками и с самим зодчим в течение шести лет, малость «наметался» по-итальянски – как его друг, маэстро Фиоравенти, уже изъяснялся «по-московитски».

– За коим же делом, старче, пришел ты снова на Москву?

– Притекох аз великого ради дела, – отвечал старик. – Спасения ради града моего родительного... Государь распалился гневом великим на Хлынов.

– Слышал я о том по весне... – вспомнил Фиоравенти. – Но потом мне сказали, что государь отпустил городу этому вину его...

– Было оно так, милостивец, да после того возмутили воду изветами на мой родной город – и с того боязнь мне, как бы государь не имел веру тем безлепичным изветам. К тебе, кормилец, государь зело милостив и твоего гласа послушает... Буди заступник за град неповинной. Воздействуй и на государыню. Пусть умолит супруга своего положить гнев на

¹⁸ – О! Третьим с неба упал Катон!.. (*лат.*).

¹⁹ Господин (*ит.*).

²⁰ – Хорошо, хорошо (*ит.*).

милость.

Фиоравенти, видимо, колебался...

– Я, мой друг, в государские дела не вмешиваюсь, – сказал он после небольшого раздумья. – А к великой княгине охотно пойду с тобой.

– Как же я в таком одеянии предстану пред очи государыни?.. – в сомнении оглядел себя старик.

– Ничего, mio saго²¹, – успокаивал его Фиоравенти. – Государыня милостива и невозбранно принимает странников и странниц. А тебя когда-то в великом почитании держала.

Старик перекрестился и оглянулся. Ему в глаза бросилось стоявшее в углублении ниши великолепное мраморное Распятие. Изваяние было чудной работы. Тело Спасителя было как живое. Мускулы тела, казалось, выражали страдание, а лик Божественного Страдальца являл неизреченную кротость и всепрощение.

– Приидите Все страждущие и обремененные...²² – со страхом и умилением прошептал старик. Казалось ему – видение призывало его на молитву.

– Прииду, о Господи!.. Прииду, – прошептал старик. И, упав на колени, он стал горячо молиться.

– Дерзаю, о Господи! – сказал он, вставая. – Идем.

И они отправились во дворец.

²¹ Мой дорогой (*um.*).

²² Неточная цитата текста Евангелия от Матфея: «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы» (11:28).

IX. «Наш род от кесаря Аугуста»

Мы опять находим великую княгиню в ее тихом тереме. Там находился и десятилетний княжич Василий со своею мамкою, которая что-то вязала. И разговаривала с княжичем.

– Так ли, соколик, говоришь ты, будто род ваш княжеский от кесаря римского... – засомневалась старая мамушка, заговорщицки посмотрев на великую княгиню, которая ей кивнула в ответ с улыбкою. – Кесарь-то этот, Аугуст²³, еще при Христе Спасе нашем... Во время Его земной жизни еще... жил.

Княжич нетерпеливо вскочил и, достав с полки одну из лежавших на ней рукописей, стал ее быстро перелистывать...

– Вот... – сказал он. – Слушай.

И стал читать медленно, затрудняясь над иными словами:

– «История от древних летописцев о граде Кривиче, еже старая городища, и обывателех того кривичех»... – Постой... – перебил он сам себя. – Это ниже – где об Аугусте. Вот... «Римского кесаря Аугуста, обладавшего всею все-

²³ Усыновленный Цезарем его внучатый племянник Октавиан (63 г. до н. э. – 14 г. н. э.) положил конец гражданским войнам в Древнем Риме, за что сенат установил для него производный от имени его отца титул «цесаря», а имя Аугуст (здесь: Аугуст), данное ему самому как императору, стало затем нарицательным для европейских монархов, «августейших» особ.

ленную, единоначальствовавшего на земле во время первого пришествия на землю Господа Бога, Спаса нашего Иисуса Христа. Сей кесарь Аугуст раздели вселенную братия своей и сродникам, ему же быша приемный брат, именем Прус, а сему Прусу тогда поручено бысть властодержательство в брезах Висле-реке град Мовберок и преславный Гданск, и иные многие города по реку, глаголемую Неман, впадшую, яже зовется и поныне Прусская земля. От сего же «Пруса» семени бысть вышереченный Рюрик и братия его»²⁴.

– Видишь? – торжествующе посмотрел княжич на мамку. – Так что Рюрик, от которого уже наш княжеский род... и сам был не худа рода...

– И-и! – сокрушенно вздохнула мамка, считая петли. – Великое дело – грамота. Великое!

– А ты, мама, каково роду? – обратился юный ученый к матери.

– Царского, сынок, – ласково отвечала великая княгиня. – Мои деды и прадеды володели Царем-градом, а ныне оным владеют проклятые агаряне²⁵. Господь попустил сие за грехи наши.

При воспоминании об утраченной родине и потере могу-

²⁴ Рюрик и его братья Синеус и Трувор.

²⁵ Одно из названий для мусульман. Согласно библейской легенде, агаряне – потомки сына Авраама по имени Измаил, родившегося от рабыни Авраама Агари.

цественной державы, владевшей почти всем миром целые тысячелетия, у великой княгини на глазах показались слезы. Заметив это, юный княжич бросился матери на шею.

– Вот что, мамочка, – лепетал он. – Когда я Божиим соизволением вырасту большой... пущай батя собирает русскую землю... ему не до того... А как я вырасту и войду в силу, я прогоню проклятых агарян и отдам тебе опять Царь-град.

Мать с нежностью обнимала сына и плакала.

– Не плачь, мама золотая моя, не плачь! – горячо говорил мальчик. – Вон онамедни батя чёл книгу «Златый бисер»²⁶ и сказывал про меня, что я родился под планидой Марс и того ради буду храбр и войнолюбив... Так я точно под тою планидою родился, мама?

– Точно, Васенька, под планидою Марс, двадесять-пятого того месяца, на самое Благовещение Пресвятой Богородицы.

– Хороший, таково хороший знак, ежели кто рождается в тот день, когда и птица гнезда не вьет, – решила старая мамка.

Княжич быстро выбежал из терема матери и скоро воротился с какой-то книгой в сафьянном переплете.

– Вот, мама, «Златый бисер»: «Понеже некия планиды или звезды суть студени естеством, а некия волглы естеством, то те самыя естества приемлет человек от звезд: который человек студенаго и сухаго естества есть, той молчати

²⁶ Сборник составлен в XIV в. Содержит наставления нравственного и медицинского характера, как древнерусские, так и переведенные с греческого языка.

любит и не скоро верит тому, что слышит, дондеже испытно уразумеет. А который человек студенаго и волглаго естества, той, что ежели слышит, вскоре высказывает и много глаголет...» А я какого естества, мама? – вдруг спросил он.

– Ты, чаю, сынок, естества студеного и волглого, понеже, что ни услышишь, все выкладываешь и сам с собою болтаешь, а с игрушками у тебя таковы разговоры, что на-поди! – рассмеялась Софья Фоминишна.

– Правда, правда, матушка княгинюшка, – рассмеялась мамка. – Уж такой-то говоруха княжич! И во сне не молчит, все-то бормочет.

– Полно-ка тебе врать, мамка, – протестовал князек. – Вот ты так без перестани сама с собой бормочешь... А ты слушай дале: «А который человек горячаго и сухаго естества, той есть дерз руками и храбр и имат желание на многия жены и зело непостоянен в любви»...

– О-ох! – вздохнула мамка и тихонько, как бы про себя, прошептала: – Есть, есть таки кобели... А сказано: черного кобеля не вымоешь добела.

Софья Фоминишна, ввиду щекотливых вопросов, затронутых «Златым бисером», свела разговор на другую почву:

– А ты, Васенька, катался ноне на Арапчике, что подарил тебе Махмет-Амин-хан?

– Катался, мама, до самово Успенского собору доезжал, и там меня видел немчин Аристотель: молодец, говорит, княжич, – весело отвечал мальчик.

Но его на этот раз больше занимал «Златый бисер», и он снова начал читать:

– «Сего ради писание поведает: еже планида Марс или рещи Арис горячаго и сухого естества, то которая жена родится под тою планидою, и тая жена бывает дерзка языком и имать желание на многие мужи...»

Вдруг какая-то счастливая мысль осенила маленького чтеца...

– Ты сказывала, мама, что я родился в месяце марте, на Благовещение?.. Так? – спросил он.

– Так, дитяtko.

– Под планидою Марс?

– Так, так.

– Того ради я дерз языком и имам желание на многие жены?

– Ох, чтой-то ты такое непутевое мелешь! – накинулась на своего вскормленника старая мамка.

А Софья Фоминишна только рукой махнула и взяла у мальчика «Златый бисер», опасаясь дальнейшего чтения.

В это время на пороге показалась постельница княгини...

– Ты чего, Варварушка?

– Тальянский немчин «арихтыхтан» пришел, – отвечала постельница. – Да с ним тот старичок, что Успенский собор камнем да лесом снабживал... Лазарь Копытов. Пустить их укажешь, матушка?

– Ах, и Елизар... Пусти, пусти!

Х. Поздно!

В терем вошли Фиоравенти и Копытов, по обычаю истово, земно кланяясь. Последний, однако, сначала перекрестился на иконы...

– Мир дому сему и обитающим в нем, – сказал он.

– Buona sera²⁷, княгиня, – приветствовал и Фиоравенти.

– Здравствуйте, гости дорогие, – ласково сказала Софья Фоминишна. – Кого я вижу! Сколько лет, сколько зим!..

– Ровно десять годков, матушка княгинюшка, – отвечал старик и, увидев юного княжича, издали перекрестил его: – Да почиет благословение Господа и Спаса нашего над главою отрока сего.

– Да, Елизар, ты же моего сыночка не знаешь, – сказала княгиня. – Бог послал мне его на радость и утеху в тот самый год, как ты удалился от мира. Садитесь, гости дорогие.

Те сели на лавку, покрытую ковром.

– Где же ты пребывал с той поры, как Москву покинул? – спросила старика княгиня. – Может, у святых мест побывал?

– Нету, матушка Софья Фоминишна, не привел Господь, да и года мои древние. Я, аки пес смердящий, в конурочке укрывался от грехов моих, в скитке убогом грехи свои вымаливал. Много, матушка, на веку прожито, много грехов

²⁷ – Добрый вечер (*ит.*).

содеяно, а особливо в те поры, как я гостем гостевал во всей земле, сколько, може, народу изобидел корысти ради, сколь много, може, душ хрестьянских на меня у престола Господня плакались, и коликое множество, чаю сирот и вдовиц убогих, неведаячи, разорил... Через слезы людския, чаю злато ручьями лилось в сундуки мои да в меха кожаны...

В то время, когда старик говорил с княгиней, Аристотель Фиоравенти подсел к маленькому княжичу, который показывал ему свои игрушки и книги.

– По этой книжке я цифири учусь... единожды один – один, единожды два – два.

– А кто тебя цифири учит?

– Протопоп Силантий... он же по «крюкам» пению учит²⁸, четыю-петыю церковному.

– А мама не учит тебя по-тальянски?

– Малость учит так, без уроков, без книжки, а словесами токмо, дабы я всех любил чистым сердцем... А кто сей старик, что с мамой говорит?

– Он был первостатейным гостем, зело богат был и много помог своими богатствами построению Успенскаго собора.

– Какая у него длинная борода!.. А знаешь, отчево борода растет и... ногти? – вдруг спросил княжич.

– Не знаю.

– А вот отчего... Я тебе прочту из «Златаго бисера»... – И, пользуясь тем, что мать занята была разговором со стариком,

²⁸ То есть пению по древнерусской крюковой нотной грамоте.

он снова отыскал любимую книгу... – Вот, смотри, – развернул он «Златый бисер» на 60-й главе... – «Ученик: Откуда растут волосы?»

Учитель: От бородавки, яже от стомаха идет, того ради, которой человек студеного прирождения, у того волосы растут вельми долги...» А что есть... студеное прирождение? – спросил юный физиолог, поставленный в тупик непонятными словами.

– Не ведаю. Може, кто не горяч кровию.

– Значит, сей старик не горяч кровию. А я горяч?

– И сего не ведаю.

– А вот и ногти... «Ученик: Откуда растут ногти?»

Учитель: От бородавки, яже идет от сердца, того ради старейшины людски носят на перстех златые перстни, понеже мудрости наследие от сердца есть...» А вот дале сия книга говорит, отчего оный старик сед...

– О, per Вассо!²⁹ – невольню улыбнулся Фиоравенти, развлекаемый болтовней ребенка. – Сия книга, вижу, вельми премудра.

– Да, вот... «Яко младенцы родими, – снова читал юный ученый, – беловласы или русы и черны и чермнии, тако и в совершенном возрасте, и донележе пребывают в силе и в крепости, тогда имеют кровь горячую и волосы неизменны, яже на вся дни юностные донележе имать крепость. Егда же начнет человек старетися и крепость и сила его малитися, и

²⁹ – О, именем Вакха! (*лат.*)

теплота утробная уступати, тогда со студени начнет седети. Егда же стар имать быти, тогда едва и теплыми кожанами ризами согретися имать»...

– Уж таки-то чудеса! – набожно вздыхала мамка, не спуская умиленных глаз со своего вскормленника. – И как Господь умудрил дитя малое, ума не приложу! Все-то он знает.

– «Писание глаголет, – читал далее княжич, – человек блюдом от Бога, и кийждо, имать ангела своего хранителя, пасуще и хранище его, и егда приидет человек к концу, тогда святии ангели поймут душу его и не оставят, дондеже поставлена будет в вечной радости повелением Божим. Аще ли который человек умрет во гресех, тое душу поймут злии бесове и сведут в преисподний ад, и тамо будет во веки веков».

– О Господи! Спаси и помилуй, – шептала матушка.

– А был один человек, который сходил в ад и возвратился из аду здоров и невредим, – сказал Фиоравенти.

– Кто сей человек? – с любопытством спросил княжич.

– Наш поэт, стихотворец Данте.

– Ах, Данте... Мама таково любит его!.. Так он был в аду и возвратился оттуду?

– Как же! Или княгиня тебе не рассказывала про него?

– Говаривала не одна, а что он был в аду, про то не рассказывала.

Между тем Софья Фоминишна так была заинтересована разговором со старцем Елизаром, что и забыла спросить о цели его появления в Москве после десяти лет отсутствия.

– Пришел я к тебе, матушка княгиня, с горьким челобитьем, – сказал старик, вставая с лавки, – буди заступницей пред государем великим князем, твоим супругом, за родной град мой Хлынов. Обнесли ево изветом злым, сказывают, бытто наш Хлынов не по правде добил челом великому князю, и то – злое поклепство! Хлынов, отчина ево, великаго князя, служит своему государю без грубства и без порухи. Государыня княгиня! Смилуйся, пожалуй!

– Ах, Господи! – сокрушенно покачала головой княгиня Софья. – Рада бы я помочь твоему горю, всей душой рада бы, да только ты, Елизарушка, не вовремя просишь, опоздал.

– Как опоздал, матушка?.. На милость Господа и великаго князя сроки не положены. И из аду Господь вызволяет душу покаянную. И государь великий князь в своем праве милловать виноватаго, покель голова его не скатилась с плахи.

– В том-то и горюшко мое, старче Божий, что теперь уж и сам государь помиловать не волен, не ево теперь на то воля, – со слезами на глазах говорила растроганная княгиня.

– Почто не волен, почто!

– Ах, тебе неведомо... Слушай же: уж и гонцы давно воротились из Твери, из Вологды, с Устюга, с Двины, с Вожи, из Каргополя, с Белоозера, с Выми и Сысоли.

– Каки таки гонцы?.. Почто?

– Да спослались они во все те места, чтоб тамони рати неукоснительно шли на Хлынов, и те рати с воеводами московскими, с князем Данилою Щенятевым да с боярином

Григорием Морозовым, чаю, уж под Хлыновым ноне либо по пути близко.

Ужас и отчаяние выразились на лице старика. Он весь задрожал и, вероятно, упал бы, если бы его не поддержал подоспевший вовремя Аристотель Фиоравенти.

– Боже мой, Боже мой! Вскую оставил Еси нас...³⁰

³⁰ Измененная цитата последних слов Иисуса Христа перед смертью: «Боже мой! Вскую мя Еси оставил!» – «Боже мой! Для чего ты меня оставил?» (Евангелие от Матфея. Гл. 27.46).

XI. Хлынов обложен

Действительно, рати всех поименованных в предыдущей главе областей быстро двигались к Хлынову.

Пощады Хлынову ждать было теперь невозможно. Все эти тверичи, вологжане, устюжане, двиняне, каргопольцы, белоцерцы, сысольцы, все – давно питали злобу против Хлынова за его многолетние ушкуйнические набеги на эти области и разорения.

Утром 16 августа с колокольни Воздвиженья раздался страшный «сполох», такой страшный, какого еще никогда не слышали хлыновцы. Думали, что весь город разом объят пламенем.

В ужасе все высыпали на городские стены... Глазам представилось страшное зрелище!.. «Аки борове, – говорит летописец, – точно живые бори, точно темные леса двигались к городу несметные рати».

– Родимые! Отцы и братия! Конец Хлынову-городу! – кричал с колокольни звонарь, который первым увидел страшное зрелище и забил «сполох».

И воеводы стояли на стене, бледные, растерянные...

Среди них показалась с растрепанными седыми волосами страшная старуха и махала в воздухе привязанным к длинному шесту мертвым вороном...

– На них каркай мертвым карканьем, на них, на их голо-

вы, – хрипло, задыхаясь, кричала она.

Потом, распуская по ветру седые космы, вопила:

– Сколько волос на мне ноне и сколько смолоду было их, столько я, простоволосая, смертей напускаю на них! Все жабы, и нетопыри, и совы, все гады ползучие, все звери прыс-кучие, все утопленники, все удушенники, все опойцы, все мертвецы, што зарыты в сыру землю без креста и савану, без попа и ладану, все на них идите, трясавицы и люту смерть несите!

Это беснованье ужасом поразило хлыновцев.

– Звони на вече! – кричал Оникиев. – На вече, православные!

Все повалили к земской избе. Впереди шагал Микита-кузнец, держа на вилах сухой костяк кобыльей головы...

– Кобылья голова! Ночесь тута была, ночью, что придет, в стан московской скачи, смерть проклятым мечи! – орал он свои бессмысленные заклинания.

На вече воевода Оникиев, встав на возвышение и поклонившись, сказал:

– Отцы и братие, почестные вечники! Сдавать ли город без бою да бить ли челом князю-супостату али биться мертвым боем?

Медлить было некогда, время не ждало, и вопросы бросались в толпу короткие, как бросается камень в воду.

– Биться мертвым боем до исхода души! – кричали одни.

– «Посулами» и «поминками» дьяволов уломать! – гово-

рили другие.

– Биться!.. Не пущать на вороп идиолов!

– Воду кипятить! Смолу топить!

– Плетни шестами разметывать!

– Бересту водой поливать!

Пока шло вече, все женское население Хлынова молилось по церквам. Женщинам справедливо казалось, что настал для их родного города «страшный суд». Раз Хлынову посчастливилось избежать этого «суда». Но тогда было далеко не то, что теперь надвигалось. Тогда войско московское сравнительно было ничтожно. Теперь, как видно было со стен, шли на Хлынов, говоря языком того времени, «тьми темь».

Горячо молились женщины. Никогда еще молитва их не была так пламенна. Но и молиться долго не приходилось. Всех ждала спешная работа – воду кипятить и смолу топить, чтоб кипятком и горячею смолою обливать нападающих, когда полезут на стену. На стену, для защиты же от нападающих, втаскивались тяжелые бревна, сносились камни.

К полудню соединенные рати всех девяти враждебных Хлынову областей обложили город, точно так, как соединенные силы греков обложили когда-то Трою. И в самом деле судьба Хлынова напоминает судьбу горькой Трои. Там все области греческие со своими царями и героями нагрянули на маленькую Трою. Здесь – девять областей или земель со своими воеводами да старшими московскими вождями, князем Щенятевым и боярином Морозовым, охватили малень-

кий Хлынов мертвым кольцом. Там Кассандра пророчески оплакивала неминуемую гибель родного города. Здесь – своя Кассандра... Она тоже оплакивает неминуемую гибель родного гнезда. Там жрец Лаокоон, предостерегавший троянцев не верить «данаям, дающим дары», был удушен гигантскими змеями. Здесь – благочестивый скитник Елизарушка, этот хлыновский Лаокоон, твердивший на вечах Хлынова, что «Москва слезам не верит», – где он? Может быть, и он уже удушен в Москве, но не змеями, а виселицей?

Скоро из Хлынова увидели, как соединенная рать выставила ряды смоляных бочек и целые горы сухой бересты. И началось плетение плетней под понукание песни:

Заплетися, плетень, заплстися...

Вечером вожди Хлынова, Оникиев, Лазорев и Богодайщиков, должны были сойтись в доме Оникиева на совет. Спустилась ночь на Хлынов. На стенах его перекликались часовые:

– Славен и преславен Хлынов-град!

– Славен Котельнич-град!

– Славен Орлов-град!

– Славен Никулицын-град!³¹

Гулко разносились эти оклики над Вяткой-рекой и над станом осаждающих.

³¹ Одни из первых «по старине» городов Вятской земли. Ныне города Котельнич, Халтурин и село Никулицыно в Кировской области.

– Штой-то долго не идет Пахомий? – обратился Оникиев к Богодайщикову, имея в виду Пахомия Лазорева.

– Може, часовых охаживает для верности.

– Что же, часовые, кажись, исправно перекликаются.

Но если бы беседующие могли проникнуть взором чрез затворенную ставню, то они увидели бы, как под покровом августовского вечера женская тень бросилась навстречу мужской тени и прильнула к широкой груди...

– Пахомушка! Касатик мой! Соколо ясный! Добейте челом московскому князю! Не губите Хлынова и нас, сирот бедных!

– Онюшка, Оня! Светик мой! Голубица чистая! Так любя тебе?

– Сам знаешь, что сохну я по тебе, вяну, словно цветок без солнца.

– Когда же под венец, мое золото? Когда ты моя будешь?

– Как только добьете челом князю постылому, в те поры и засылай сватов к отцу, к матушке.

– Добьем челом, добьем, за тем и иду на совещание к твоему батюшке.

Тени оторвались одна от другой...

– Славен и преславен Хлынов-град.

– Славен Котельнич-град.

– Славен Орлов-град!

– Славен Никулицын-град.

Мертвая тишина в городе, хотя почти никто не спит.

– Попытка не пытка, – говорит на совете у Оникиева Пахомий Лазорев, – добьем челом супостату.

– Добить-то добьем, – соглашается и Оникиев, – Москва спокон веку живет «поминками» да «посулами». Одначе Данило Щеня да Морозов не тою дратвою шиты, что Шестаки-Кутузовы: сии и «поминки» возьмут, и поминальщиков закуют.

– Да, с этими опаско, – согласился и Богодайщиков, – нам с поминками самим выходить не для че, как ономясь, да и Онисьюшка пушай в городе остается, а то как бы ироды на ея девичью красу не позарились.

– Вышлем с «поминками» Исупа Глазатого, – предложил Пахомий Лазорев.

На том и порешили и разошлись.

Тихо, мертво кругом, только собаки воют, чую беду.

– Заутрее добивать челом пошлем Исупа Глазатого, – слышится шепот во мраке ночи.

– Славен и преславен Хлынов-град!

– Славен Котельнич-град!

– Славен Орлов-град!

– Славен Никулицын-град!

ХII. Последние судороги

В стане осаждающих тревога. В темноте слышны крики: «Держите вора! Зарезал, проклятый!.. В шатер пробрался, до становой жилы перерезал!»

Заскрипели на ржавых петлях городские ворота. В них прошмыгнула гигантская тень.

– Ты, Микита?

– Я... До черенка всадил...

– Ково, свет Микитушка?

– Самово идола, Щеню... Не никнул, аспид... кровью захлебнулся.

Вдруг зарево осветило стан осаждающих.

– Батюшки! Горим!.. Бересту, что наготовили для городских стен, подожгли...

– Лови налителя, лови!. Вон он, в кусты бежит!

– А, дьявол! Не уйдешь, черт!

– Пымали, пымали палителя!

Весь стан осаждающих на ногах. Все мечется, кричит.

– Бог спас князя Данилу... не ево зарезали.

– А ково? Полуголову стрелецково?

– Не! Стремянново Князева, в ево шатре спал. Ошибся в темноте Микитушка. Не князя Щенятева зарезал, а его стремянного.

Светало. Береста удачно потушена. Поджигатель пойман.

Со стен города видно, как московские ратники врывают в землю два столба с перекладиной...

– Ково вешать собираются? – спрашивают на городской стене.

– Должно, из наших ково... Поджигал кто...

– Ведут! Ведут!.. Седенький старичок.

– Ай, ай! Да это дедушка Елизарушка!

Действительно, это был он. Узнав от Софьи Фоминишны, что рати двинулись на вятскую землю, он на ямских помчался прямо к Хлынову, платя на ямах ямским старостам и ямщикам бешеные деньги, чтоб только поспеть вовремя, пока его родной город еще не обложен. Но он опоздал. Хлынов был уже обложен. Тогда он ночью и поджег приготовленную для осады Хлынова бересту...

Пойманного вели к виселице. Старик не сопротивлялся, шел бодро. Увидав на стене городских вождей, он закричал Оникиеву:

– Иванушка и вы, детушки! Добейте челом! Не губите града, не проливайте кровь хрестьянскую неповинную!

Когда шею его вдели в петлю и потянули вверх веревку, он продолжал кричать:

– Добейте челом, детушки! Добейте!

Так кончил жизнь хлыновский Лаокоон. Стоявшая с прочими на стене Оня судорожно рыдала.

К стене подошел бирюч от московских вождей и затрубил в рожок.

Все стихло на стенах города.

– Повелением государя и великаго князя Ивана Васильевича всеа Руси вещаю граду Хлынову: добейте челом великому государю за свою грубость и целуйте на том крест святой!

– Сей же час вышлем челобитника добить челом государю и крест святой целовать за весь град Хлынов, – отвечал со стены Оникиев.

Скоро городские ворота растворились, и из них вышли поп Ермил с Распятием и Исуп Глазатый с тяжелым мехом золотых поминок.

– Как же я крестное-то целование сломаю, батька? – шептал Глазатый.

– Не сломаешь, Исупушко, – успокоительно отвечал отец Ермил, – коли бы ты целовал ихний крест у ихнего попа, тебе бы грех было поломать крестное целование, а ты поцелуешь наш крест, и я с тебя потом сниму то целование, и твое целование будет не в целование.

Это казуистическое толкование отца Ермила успокоило Глазатаго, не очень-то сильного в догматике.

Навстречу им вышли князь Щенятев и боярин Морозов со своим стремянным.

– Целуй крест от града Хлынова и от всей вятской земли и добей челом великому государю, – сказал князь Щенятев.

– Бью челом и целую крест на всей воле государевой, – проговорил Глазатый, целую Распятие, – а тут наши «помин-

ки»...

И он раскрыл мех, чтобы показать, что там золото.

– Примай «поминки», – сказал Морозов своему стремянному.

Тот, с трудом, кряхтя, поднял тяжелый мех, набитый золотом.

– Теперь осаду сымете с города? – спросил Глазатый.

– Не сымем для того, что вы воровством своим, яко тать в нощи, зарезали мово стремянново, – отвечал Щенятев. – Даем Хлынову «опас» токмо до завтрева. – И, подозвав бирюча, приказал: – Гласи волю великаго государя: дается «опас» Хлынову до завтрева.

Бирюч протрубил и возгласил то, что ему было приказано.

В тот же вечер состоялось новое совещание в доме Оникиева. И на этот раз опоздал Лазорев.

– Дозором, должно, ходит по часовым Пахомий, – заметил Оникиев.

Должно быть так, заботлив он у нас, – сказал и Богодайщиков.

С городских стен снова доносилось:

– Славен и преславен Хлынов-град!

– Славен Котельнич-град!

– Славен Орлов-град!

Тихо. Словно вымер город. Слышен даже тихий полет нетопырей.

Снова под окном дома Оникиева встречаются и сливаются

в одну две тени.

– Не выходи завтра из города к супостатам, милый! – шепчет женский голос. – А вышлите к супостатам «больших людей».

– Не выду из ворот, солнышко мое, – слышится мужской шепот. – И батюшка твой, и Палка не выйдут.

– Умоли, дорогой, батюшку и Палку, чтоб «большие люди» сказали супостатам, что покоряемся-де на всей воле того московского идола и дань-де даем и службу.

– Буди по-твоему, радость моя.

Слышны в темноте поцелуи и глубокий женский вздох.

– Если мы выйдем из города добивать челом, – говорил на совещании Лазорев, – то в нас признают калик перехожих.

– И точно, узнают, – соглашался Оникиев, – ведь мы пели и у Щенятева, и у Морозова.

– Спознают, – согласился и Богодайчиков, – вон и Шестак-Кутузов издали, на стене когда в прошлый вороп³² стояли, спознал нас.

– Ладно. Вышлем «больших людей».

На том и порешили.

³² Вороп (*др.-рус.*) – налет, нападение, ограбление.

XIII. Не выгорело

На другой день вышли из города «большие люди». Они несли новые «поминки» московским воеводам, по сорока соболей и чернобурых лисиц.

Подойдя к воеводам, «большие люди» кланялись им соболями и лисицами и сказали:

– Покоряемся на всей воле великаго князя и дань даем и службу.

– Целуйте крест за великаго князя и выдайте ваших изменников и коромольников, воров государевых, Ивашку Оникиева, да Пахомку Лазорева, да Палкушку Богодайщикова.

– Дайте нам сроку до завтрава, – кланялись «большие люди».

– Даем, – был ответ.

Как только послы Хлынова, эти «большие люди», скрылись за городскими воротами, там тотчас же ударили в вечерней колокол.

Собралось вече. Все тревожно ждали узнать, какой ответ принесли «большие люди» от московских воевод, и, когда те объявили волю воевод, вече пришло в такое волнение, какого никогда не было в Хлынове со дня его основания.

– Мало им дани нашей! Мало им службы! Так нет же им ничево!

– Задаваться за московского князя, целовать за него крест!.. Не бывать тому! Мы не продадим своей воли! Не хотим быть ничьими холопями! – ревело вече, как море, и рев этот доносился до стана осаждавших.

– Ляжем головами за свою волю! Пущай краше наше чело вороны клюют, дикий зверь терзает. Мертвые, да только вольные!

Прошел день. Прошла ночь. Хлынов лихорадочно готовился к отчаянной обороне.

Настало утро. В московском стане ждут ответа. Ответа нет. Там поняли, что пришла пора действовать силой... Но все еще ждали.

Прошел и этот день, нет ответа.

Ждут второй день. Хлынов молчит, точно весь вымер, только с вечера снова стали оглашать сонный воздух перекликанья часовых на городской стене:

– Славен и преславен Хлынов-град!

– Славен и преславен Котельнич-град!..

Воеводы решились на приступ. Высмотрев днем самое, по-видимому, неприступное место городской стены, на котором, как на неприступном, осажденные не выставили даже ушатов с кипятком и ни бревен, ни камней не наложили, осаждавшие и выбрали это именно место для нападения.

Дождавшись «вторых петухов», когда особенно крепко спится, каждая полусотня («пятидесяток») осаждающих

приставила к избранному месту стены по две сажени плетней, а другие полусотни тащили смолу и бересту.

«И начаша окоянии приметати огненные приметы со стены в город, бросать на деревянные строения города и на ометы сена просмоленную и горящую бересту...»

Хлынов запылал. На беду его, ветер дул со стороны метальщиков-поджигателей и нес пламя через весь город.

Обезумевшие от ужаса хлыновцы ворвались в дома Оникиева, Лазорева и Богодайщикова и повели их к городским воротам с криком:

– Воротники, православные! Отворяйте ворота настежь!

– Православные! – кричали другие. – Бегите из домов!

Спешите из города. Краше полон, неж наглая смерть!

За воротами уже стояли и князь Щенятев, и боярин Морозов впереди тех ратей, которые не были посланы на приступ.

– Бьем челом, бьем челом! – кричали те, которые вели Оникиева, Лазорева и Богодайщикова. – Берите наших лиходеев! Из-за них город и христианския души пропадают.

– Устюжане! – обернулся князь Щенятев к ближним ратям. – Возьмите и закуйте в цепи ваших ворогов – Ивашку Оникиева, Пахомку Лазорева да Палкушку Богодайщикова. Они недавно устюжской земле много дурна учинили.

А ты, обратился князь к бирючу, – труби в рог и вели перестать ратным метать в город огненные «приметы». А чтобы все прочия рати бежали тушить город.

Завыла груба. Ближайшие к московским воеводам хлыновцы упали на колени с воплем:

– Батюшки, отцы наши, благодетели, спасибо вам, што велели пощадить город, унять пожарище лютое.

И все, кто чувствовал в себе силы, бросились за ратями осаждающих город унимать бушевавший пожар.

Устюжане, взяв Оникиева, Лазорева и Богодайщикова, тотчас же заковали их в цепи.

Увидав это, Оня и Оринушка бросились было за отцами, а первая – и за своим милым, но тотчас были остановлены.

– Кто эти девки? – спросил Морозов.

– Одна – дочка Оникиева, другая – Богодайщикова, – отвечал кто-то.

– Бережнее с ними, – сказал князь Щенятев. – Стрелецкий голова Пальчиков, ты за них отвечаешь.

– Добро-ста, князь, слушаю, – отвечал Пальчиков, – сам ведаю, батюшка, князь, што дети за родителей не ответчики...

– И отыщи матерей, а то и братьев и сестер, коли есть малолетки, – добавил Морозов.

– Добро-ста, боярин, все учиню по-божески.

Ободренные этим вниманием, девушки умолили позволить им повидаться с родителями.

– Голова, – сказал князь Щенятев Пальчикову, – проводи их к колодникам, ин пушай попрощаются...

Взятые устюжанами под свой надзор, Оникиев, Лазорев и

Богодайщиков сидели уже в цепях и с тяжелыми дубовыми колодками на ногах.

Девушки с тихим воплем припали к коленям отцов, каждая к своему. Звякание цепей при движении колодников заставляло их содрогаться.

Один Лазорев сидел неподвижно, его никто не обнимал.

– Откудова на вас, девушки, стрелецкие кафтаны? – спросил он, сжимая руки так сильно, что пальцы его хрустели.

– Нас велел прикрыть кафтанами князь ихний, – начала было Оня...

Пальчиков поторопился объяснить:

– Отроковицы с пожариево переполоху выбежали из города мало не в чем мать родила и простоволосы. А ноне зоря маленько сиверка, дак ево милость, князь Данило Игнатович, жалеючи отроковиц, велел мне укрыть их кафтанами, и строго-настрого указал бережно отвести их к матерям и как зеницу ока беречь, чтоб им какова дурна не учинилась.

– Ишь и зверь, а детей пожалел, – подавленным голосом проговорил Лазорев.

Оня подняла голову с колен отца и протянула умоляющие руки к своему милому.

Оникиев благословил любящихся. Душу раздирали звон цепей, когда нареченный жених обнимал свою невесту пред вечной разлукой.

XIV. Хлыновская Кассандра

Пасмурное утро застало Хлынов еще тлеющим, подобно тлевшей когда-то Трое – «священному Илиону». Дальнейшее распространение пожара удалось остановить.

Начались сборы «больших людей»: купечества, духовенства, правящих сословий и всего зажиточного населения Хлынова, горькие их сборы в далекий, неведомый путь... «Меньшие люди» оставлены были с их животами на пепелищах севернорусской Трои.

«1 сентября, – говорит летописец, – воеводы развели Хлынов». Как некогда Агамемнон, Одиссей и другие вожди данаев «развели» Трои... Кассандру Агамемнон увел в плен в свои Микены – хлыновскую Кассандру, Оню, увел князь Данила Щенятев пленницею в Москву...

Когда Оня прощалась с родным городом, садясь в лучший ушкуй своего батюшки, чтобы плыть к Москве под надзором стрелецкого головы Пальчикова Семена, она невольно взглянула на недоеденный птицами, все еще висевший на виселице труп дедушки Елизарушки, хлыновского Лаокоона.

Горькое это было «разведение» Хлынова, невольное переселение из «земли ханаанской в землю халдейскую»³³, на реки вавилонские, Москву-реку и Язузу. Вятка-река, а потом и Кама были запружены ушкуями, теми ушкуями, на которых

³³ То есть из Палестины в Месопотамию, междуречье Тигра и Евфрата.

хлыновцы еще недавно и так победно гуляли по всей Волге до столицы Золотой Орды – Сарая. Теперь ушкуи завалены были тюками домашнего добра хлыновцев, всякими «животами», то есть нажитым имуществом.

Вот эта флотилия ушкуев вышла уже в Волгу. Неприютно здесь на большой воде, холодно. Осень с дождем рано завершила. По небу летели на юг последние перелетные птицы, жалобно перекликаясь высоко в небе. Прибрежные леса грустно теряли свои пожелтевшие листья.

Когда нестройная флотилия переселенцев плыла мимо Казани, толпа татар высыпала на берег Волги.

– Ля-илля-иль-алла, Мухамед расул Алла! – кричали одни, махая в воздухе шапками.

– Селям алейкюм! Алейкюм селям! – приветствовали другие.

– Кесим башка Хлынов! – злорадствовали третьи.

Микита-кузнец с бессильной злобой показывал им кулак с своего, заваленного кузнечными принадлежностями ушкуя.

Оня беспомощно жалась к своей подруге и глядела печальными глазами на серые, неприветливые воды потемневшей Волги. Свою мать она похоронила в Хлынове: не хотела та плыть к рекам вавилонским и умерла с тоски по мужу.

В Нижнем переселенцев ожидали земские подводы, на которых хлыновцы и тащились с своею рухлядью от яма до яма.

И вот они в Москве, на реках вавилонских. Оню Пальчи-

ков отвез в дом князя Щенятева, а Оринушку с матерью – к боярину Морозову.

– Не плачь, Онюшка, не плачь, сиротинушка, – утешала ее подруга, – мы с матушкой будем ходить к тебе.

– Где уж нам, полонянкам, видеться! – грустно покачала головой горькая невеста горького жениха-колодника.

– Нету, милая: добрый дядя, Пальчиков Семен Николаич, сказывал, что мы будем ходить друг к дружке.

Через несколько дней бирючи трубили на площадях Москвы и возглашали:

– Православные! Завтрея, по указу государя великаго князя Ивана Васильича всяя Руси, на Красной площади, на лобном месте, будут «вершить» хлыновских коромольников! Копитесь, православные, на Красную площадь!

Москвичи и без приглашения рады были таким зрелищам. Какие у них были развлечения?.. Одни кулачные бои да публичные казни... Новгородцев уж давно «вершили», и москвичи скучали...

– Ишь паря, глядь-кось, три «кобылы» в ночь соорудили... Но-но-но, кобылушки!

– И три люльки высокие, качели... Вот качацца будут, таково весело!

– Ведут! Ведут! – пронеслось по площади.

Их действительно вели. Между москвичами виднелись на площади и некоторые хлыновцы. Они смотрят и тоже плачут.

– Москва слезам не верит, – говорил кто-то в ответ.

– На кобылы кладут...

К палачам подходит Пальчиков.

– Вы полегше, ребята, – шепчет он, – тоже хрестьянския души...

Я не стану описывать все то возмутительное, что произошло дальше.

Оникиева, Лазорева и Богодайщикова не стало. Свершилось то, что видел дедушка Елизарушка «втонце сне»...

* * *

Не стало скоро и Они, хлыновской Кассандры...

Князь Данила Щенятев относился к сиротке с отеческой добротой. Постоянно тихая, молчаливая и грустная, она возбуждала в нем глубокую жалость.

– Домой бы мне, на родимую сторону, – говорила она иногда князю.

– Зачем, деточка? Там никого из ваших не осталось. Всех государь велел расселить в Боровске, Алексине, Кременце да в Дмитровке.

– В монастырь бы мне.

– Обживешься, детка, с нами. Мы тебе женишка подыщем. Хорошева отецково сына женишка!

– Мой жених пред Господом. Я в Хлынове заручена ба-тюшкой родимым.

В дом князя стал учащать Шестак-Кутузов. Пораженный

красотою девушки еще в Хлынове, он возгорел к ней страстью...

Но девушка, видя это, была особенно холодна с ним.

И страсть влюбленного старика превратилась в ненависть...

– погоди ж, тихоня, – неистовствовал он в душе. – Так не достанешься ж ты никому!

Скоро княгиня Щенятева получила письмо, в котором какой-то мерзавец (мы догадываемся кто) писал княгине, что их Онисья... любовница князя Данилы.

Ревнивая княгиня поверила гнусной клевете и извела несчастную сироту отравным зельем.

Да, это была наша Кассандра. Как ту, Кассандру «священного Илиона», погубила Клитемнестра, жена Агамемнона, так и нашу другая Клитемнестра (жена князя Щенятева).

Только у нашей Клитемнестры не было сына Ореста³⁴, который бы отомстил своей матери за убийство убийством, не боясь гнева Немезид...³⁵

³⁴ Клитемнестра – жена царя Агамемнона. Согласно древнегреческим мифам, пока муж воевал под Троей, вступила в связь с его двоюродным братом Эгисфом и убила Агамемнона, когда он возвратился на родину. Погибла от руки своего сына Ореста, отомстившего за отца.

³⁵ Немезида – древнегреческая богиня возмездия.

Сидение раскольников в Соловках
(Архимандрит Никанор
и братия, сподвижники
«протопопа Аввакума»)
Историческая повесть из
времен «начала раскола
на Руси» в царствование
Алексея Михайловича, 1674

I. Буря на Белом море у Соловков

По Белому морю, вдоль Онежской губы, у исхода ее, по направлению к Соловецкому острову медленно плыла небольшая флотилия из коней, наполненных стрельцами. Кони шли греблей, потому что на море стояла невозмутимая тишь, наводящая одурь на мореходов. Весна 1674 года выдалась ранняя, теплая, и вот уже несколько дней солнце невыносимо медленно от зари до зари ползло по безоблачному небу, почти не погружаясь в море даже ночью и нагоняя на людей тоску и истому. Морило так, что, казалось, и небо было

раскалено, и от моря отражался жар, и груди дышать было нечем. Кругом стояла такая тишина, что слышен был малейший плач морской чайки где-то за десятки верст, хотя самой птицы и не было видно, да и ей в эту жарынь не леталось. Весла гребцов медленно, лениво, неровно опускались в морскую лазурь и блестели на солнце спадавшими с них алмазными каплями, а с самих гребцов по раскрасневшимся лицам катился пот, смачивая собой разметавшиеся и всклокоченные пряди волос и бороды.

– «...И от Троицы князь великий поеде и с великою княгиней и с детьми в свою отчину на Волок Ламской тешиться охотою на зверя прысучего и на птица летучая. И тамо яко некоим от Бога посещением нача немощи, и явися на нозе его знамя болезненно, мала болячка на левой стране на стегне, на изгиби, близ нужного места, с булавочную голову, верху у нее нет, ни гною в ней нет же, а сама багрова. И тогда наипаче внимаше себе, яко приближается ему пременение от маловременного сего жития в вечный живот...»

Это на переднем, на самом большом из всех кочей судне, у кормы, под напятым на снасти положком сидит старый монах и, водя грязным толстым пальцем по развернутой на коленях книге, читает, гнуса и спотыкаясь на титлах да на длинных словах. На трудных словах особенно трясется его седая козелковая бородка.

– От маловременного сего жития в живот вечный, вон оно что! А все никто как Бог, – рассуждал монах, переводя дух и

поправляя на голове скуфейку. – Уж и теплынь же, воевода.

– Что и говорить, тепла печка Ботова, – отвечал тот, кого называли воеводою, сидевший тут же под холстовым напьястем.

А с задних судов доносился говор и смех, но как-то вяло, лениво. По временам кто-то затягивал песню, другой подхватывал и лениво, монотонно тянули:

Сотворил ты, Боже, да небо-землю,
Сотворил же, Боже, весновую службу.
Ме давай ты, Боже, зимовые службы,
Зимовав служба молодцам кручинна.
Молодцам кручинна, да сердцу неусладна...

– Али в экое пекло лучше! – протестует чей-то голос.

– «...И посла брата своего по князя Ондreja Ивановича на потеху к себе. Князь же Ондрей приеха к нему вскоре. Тогда князь великий нужею выеха со князем Ондреем Ивановичем на поле с собаками», – продолжал гундосить монах под пологом.

Ино дай же, Боже, весновую службу,
Весновая служба молодцам веселье,
Молодцам веселье и сердцу утеха.

– А я в те поры был у ево, у Стеньки, в водоливах на струге, как он гулял с казаками. А она, полюбовница ево,

царевна персицка, сидит на палубе, на складцах, словно маков цвет, изнаряжена, изукрашена, злато-серебро на ей так и горит. А Стенька выпил-таки гораздо, да и ну похваляться перед казаками: мне, говорит, все нипочем, всего добуду и Москву достану. Да и подходит это к своей любовнице, берет ее на руки, словно дитю малую, подносит к борту да и говорит: «Ах ты, Волга-матушка, река великая! Словно отец с матерью ты меня кормила-поила, златом-серебром, славой-честию наделила, а я тебя ничем не отдалил... На ж тебе, возьми!» Да так, словно шапку, и махнул в воду свою любовницу.

– Что ты, братец мой! И утопла?

– Как топор ко дну.

Это ведут беседу стрельцы, сидя на носу передового судна. Судно это наряднее всех остальных кочей. Нос и корма его украшены резьбой и расписаны яркими цветами. На вершине мачты, над вертящимся кочетком, водружен восьмиконечный крест. Пониже в неподвижном воздухе висит на натянутой снасти красный флаг с изображением Георгия Победоносца. Это судно воеводское. Несколько чугунных пушек поблескивают на солнце, выглядывая за борт.

– Что ж, воевода, говоря по-божьему, их старцов дело правое, – говорил монах, – двумя персты все мы от младых ногтей маливались, и я, и ты. Вон и в этой книге, гляди-тко, изображен старец, видишь? Вон у ево перстилки-то два торчат, аки свечечки, а большой перст пригнут.

И монах тыкал пальцем в изображение на одной странице книги.

– Так-то так, я и сам не больно за три персты-то стою, – нехотя отвечал воевода, – да они за великого государя не хотят молиться: еретик-де.

– Ну, это дело великое, страшное: об ем не то сказать, а и помыслить-то, и-и! Спаси Бог!

Они замолчали. Молчали и стрельцы, только гребцы медленно и лениво плескали веслами да назади тянули про «весновую службу»:

А емлемте³⁶, братцы, Яровы весельца,
Да сядемте, братцы, в встляны стружочки,
Да грянемте, братцы, в яровы весельца,
В яровы весельца – ино вниз по Волге.

– Вон и они про Волгу поют. Хорошая река, вольна, – снова заговорил стрелец.

– Как же ты с Волги сюда попал, коли у Разина служил?

– Да у него-то я неволей служил... Допрежь того служба моя была у воеводы Беклемишева, и там как Стенька настиг нас на Волге да отодрал плетьюми воеводу...

– Что ты! Воеводу! Беклемишева?

– Ево, да это еще милостиво, диви, что не утопил... Ну, как это попарил он нашего воеводу, так и взял нас, стрель-

³⁶ Емлить (др.-рус.) – брать.

цов, к себе неволей. А после я и побег от него.

– И ноздри тебе на Москве не вырвали?

– За что ноздри рвать? Я не вор.

– А ты видел, как потом Стеньку-то на Москве сказнили?

– Нет. В те поры мы стояли в черкасских городех, потому чаяли, что егман польской стороны, Петрушка Дорошонок, черкасским людям дурно чинить затевал.

– А я видел. Уж и страсти же, братец ты мой! Обрубили ему руки и ноги, что у борова, а там и голову отсекли, да все это на колья... Так голова-то все лето на колу маячила: и птицы ее не ели, черви съели, страх! Остался костяк голый, сухой: как ветер-то подует, так он на колу-то и вертится, да только кости-то цок-цок-цок...

На западе, ближе к полудню, что-то кучилось у самого горизонта в виде облачка. Да то и было облачко, которое как-то странно вздувалось и как бы ползло по горизонту, на полную ночь.

– Никак, там заволакивает аер-от³⁷...

– И впрямь, кажись, облаци божии. Не разверзет ли Господь хляби небесны? – крестится монах.

– А добре бы было, страх упека.

Воевода расстегнул косой ворот желтой шелковой рубахи, зевнул и перекрестил рот.

Облачко заметно расползлось и вздувалось все выше и выше. Казалось, что в иных местах серая пелена, надвигав-

³⁷ Аер (лат.) – воздух.

шавшая на юго-западную половину неба, как бы трепетала. Старый помор-кормщик, сидевший у руля воеводского судна, зорко следил своими сверкавшими из-под седых бровей рысьими глазками за тем, что делалось на горизонте и выше. Жилистая, черная, как сосновая кора, рука его как-то крепче оперлась на руль.

Слева, по гладкой, почерневшей поверхности моря прошла полосами змеистая рябь. Неизвестно откуда взявшаяся стая чаек с плачем пронеслась на восток, к онежскому берегу, которого было не видно. Душный воздух дрогнул, и кочеток заметался и заскрипел наверху воеводской мачты. Что-то невидимое затрепетало красным полотном, на котором изображен был Георгий, прокалывающий змия с огромными лапами.

– Ай да любо, ветерок! Теперь бы и косым паруском можно, – слышалось откуда-то.

– Напинай, братцы!

– Стой! Не моги! – раздался энергетический голос старого кормщика-помора.

Вдали на западе что-то глухо загремело и прокатилось по небу, словно пустая бочка по далекому мосту. Солнце дрогнуло как-то, замигало, бросило тени на море и скоро совсем скрылось. Высоко в воздухе жалобно пропискнула как ребенок какая-то птичка, и скоро голос ее затерялся где-то далеко в неведомом шуме.

– Не к добру, – проворчал старый кормщик, взглядываясь

во что-то по направлению к Соловкам. – На экое святое место да ратью итить.

– Ты что, дядя, ворожишь? – спросил походя тот стрелец, что служил у Стеньки Разина в водоливах.

– Что! Зосима – Савватей осерчали, дуют.

– Что ты, дядя! За что они осерчали?

– А как же! На их вить вотчину, на святую обитель ратью идем.

– По делам, не бунтуй.

Небо загремело ближе, и как бы что-то тяжелое, упав и расколовшись, покатилося по морю. Порывом ветра, неизвестно откуда сорвавшегося словно с цепи, метнуло в сторону полотняный намет и, потрепав в воздухе, бросило в воду. Монах, придерживая скуфейку, прятал под полу книгу, а воевода торопливо застегивал ворот рубахи и крестился... «Свят-свят-свят...»

Торррох! Расколось и обломилось, казалось, все небо над головами оторопелых стрельцов, по-над морем, там и здесь, пронеслись огненные стрелы, снова разорвалось небо, и хлынул дождь.

Все кругом крестились, полной грудью втягивая посвежевший, влажный воздух и выставляя под дождь разгоревшиеся головы и лица.

– Ай да важно! Разлюли малина, – раздавались веселые голоса.

Кто-то запел по-детски: «Дожжик-дожжик, припусти!...»

Один старый кормщик глядел сурово, заставляя судно поворачиваться левее.

– Водоливы! К пліцам! – громко закричал он. – Воду выливай.

Действительно, воды налилo много. Кочи стали идти грузнее. Намокшее красное полотно с Георгием Победоносцем болталось, как тряпка, тяжело хлеща по снастям. Ветер крепчал и вздымал море, которое, казалось, распухало, а местами прорывалось и белело тяжелыми брызгами. Беляки шли грядами, и кочи, сбившись с первого курса, тыкаясь в белые буруны носами, метались в беспорядке, как щенки. Кое-где слышались испуганные голоса, резкие выкрики кормщиков.

Монах, упав на колени и ухватившись одной рукой за уключину, громко молился и вздрагивал всем телом, когда его окатывало солеными брызгами: «Господи, спаси! Всесильный, не утопи! Пророк Иона! Пророкушка матушка! Во чреве китове», – бессвязно стонал он, поднимая правую руку к небу, которое на него свирепо дуло и брызгало водой. Воевода, ухватившись обеими руками за мачту, испуганно озирался, бормоча не то молитвы, не то заклинанья: «Охте мне! светы мои! Зосим – Савватей! Соловецки! охте-хте!» Стрелец, что служил у Стеньки Разина водоливом, торопливо сбрасывал с себя сапоги, рубаху и порты, как бы собираясь броситься в море и плыть, сам не зная куда.

Одно судно, на котором еще недавно раздавалась песня о «весновой службе», потеряв руль, отбилося в сторону и пере-

кидывалось с гребня на гребень, как пустое корыто. Другие кочи также разбились врозь и то выскакивали на белые гребни валов, то ныряли, болтая в воздухе жалкими мачтами, словно маленькими веретенами. Ветер завывал и взвизгивал, как бы силясь растрепать и оборвать ничтожные снасти, которые потому именно и не обрывались, что были слишком ничтожны...

Еще раз небесная пелена разодралась сверху донизу, и треснул гром; звякнул второй раз еще резче и заколотил по небу сотнями орудий.

На отбившемся и потерявшем руль судне раздался отчаянный крик: «О-о-о! Православные! Батюшки! Спасите, кто в Бога верует!»

– Наляг на гребки, братцы! С Богом, наляг! – хрипло командовал кормщик воеводского судна, направляя хоть его к тому месту, откуда неслись отчаянные крики.

Гребцы налегли всей грудью, то погружая весла глубоко в пенящиеся волны, то скользя лопастями по бокам валов. Судно вздрагивало, то тыкалось в воду носом, то западало кормой, так что кормщик, казалось, правил свое судно на водяную перекатывающуюся гору. Судно, потерявшее руль, видимо, потопало: края его чуть заметно чернели в пенящихся бурунах, и только виднелись руки, протягивающиеся к небу, словно расвирепевшее небо собиралось бросить им спасительные веревки, а на мачте и на снастях отчаянно билась те, которые искали спасения повыше от зияющей и кло-

кочущей бездны.

Не успело воеводское судно настигнуть погибавшее, как последнее совсем захлестнуло темно-зеленым с белым гребнем буруном. Руки, тянувшиеся к небу, разом упали и замолкли на клокочущей поверхности моря, то подымаясь, то исчезая в воде.

– Кидай причалы! Подавай концы, детушки! – не выпуская из рук руля, повелительно и с мольбою кричал старый помор-кормщик.

Взвились в воздухе, разматываясь и кружась волчком, бечевы и веревки и упали в воду в том месте, где потопавшие боролись с волнами, бледные, с искажившимися от ужаса лицами. Иной, видимо, с отчаянием и злобой погибающего отбивался от топившего его, не умевшего плавать и держаться на воде соседа. Иные руки хватались за веревки, другие, безнадежно поколотив воду, исчезали совсем под нею. Более умелые и сильные боролись с волнами сами и плыли к спасительному судну.

– Православные, спасите Киршу! Полуголове помогите, батюшки! – взмолился воевода, забыв свой собственный страх.

А Кирша, стрелецкий полуголова, взобравшись на мачту потонувшего и уже скрывшегося под водою судна, не чувствуя, что сама мачта опускается все ниже и ниже, умолял сиплым голосом: «Православные! Отцы мои! Не покиньте! Тону».

Набежавшим буруном тряхнуло мачту, руки Кирши скользнули по мокрому дереву, и он, подняв руки к небу, исчез под водою.

– Господи! Помяни во царствии раба... Господи! – с ужасом шептал воевода, безумно озираясь.

– Да, прогневались на нас святые угодники Зосима – Саватей за то, что мы хотим их святую обитель разорить, – твердил старый кормщик. – Преподобные, помилуйте!

II. Черный собор и посол Кирша

На другой день после грозы и бури стояло чудное летнее утро. Море, накануне всколыхнувшееся мгновенно налетевшею бурей и разметавшее стрелецкую флотилию, теперь снова улеглось на покой и казалось еще голубее, чище и приветливее, чем было до бури. Остров, святая вотчина преподобных Зосима и Савватия, с темною зеленью, иглистыми лесами и резко очерченными берегами, у которых кружились, реяли в прозрачном воздухе, плакали и выпискивали на разные голоса чайки, мартины-рыболовы и островерхие стрижи, казалось, радостно тянется к небу своими церквами и башнями, словно так и вышедшими, как из купели, из глубокой морской пучины. Спасшиеся от потопления стрелецкие суда-большаки и коми тихо, едва заметно колыхались у берега на поверхности глубокой соловецкой губы, красиво окаймленной зеленью и серыми, проросшими мохом камнями.

Но в самом монастыре было беспокойно. Во всей святой обители господствовала необычайная тревога. Монастырские ворота и все входы и выходы были заперты. По стенам ходили часовые с ружьями, зорко следя за тем, что делалось на берегу, около стрелецких кочей, и прислушиваясь к смутному говору и смятению, господствовавшем в стенах обители. Соборный колокол, разнося гул далеко по остро-

ву и по морю, не то бил сполох, не то созывал черный собор, всю братию и богомольцев, священников и дьяконов, соборных старцев и братию рядовую и больничную, монастырских служек и трудников, служилых людей, усольцев и всех православных христиан. В то же время пушкари монастырские по башням и бойницам чистили и заряжали наряд, пушки и пищали затинные. Монастырские голуби, которым так привольно жилось в монастыре на всем готовом, и сизые, и белые волохатые, и глинистые, рудожелтые, и турмана всех цветов и «в штанцах», белоглазые глуповидные галки, космополиты воробьи и стрижи, охотники до всего высокого и грандиозного, до высоких церквей и грандиозных скал, – все эти пернатые отшельники и певчие, выпугнутые из своих келий-гнезд необычным движением, звоном и суетнею на стенах и башнях, шумно кружились над монастырем и кричали на все птичьи голоса, не зная, где присесть и что думать о суетившейся черной братии, забывшей даже сегодня посыпать зерна и крошек для своей крылатой скромной братии. Один, особенно любимый черною братиею глинистый турман «в штанцах», видя общую суматоху и приняв ее сглупу за общее торжество, такие выделял в воздухе кувырки, что Исачко Воронин, сотник и стратиг всего монастырского воинства, зарядив на монастырской стене последнюю затанцю пищаль, так залюбовался на воздушные кувырки любимого монастырского голубя и так задрал свою бородатую голову к небу, на этого сорванца птицу, что чуть не опрокинулся со

стены.

На звон колокола из всех монастырских келий, словно черные тараканы из щелей, посыпала черная братия: из пекарен и трапез, из прядильных и дубильных изб, из странноприимных и больничных домов и из схименных конурок. Все это, как пчелы, гудело и торопливо, насколько могло, направлялось к собору, на площадке у которого уже виднелась старшая монастырская братия, отцы строители и рядители – архимандрит Никанор, необыкновенно большебровый и горбоносый старик, келарь Нафанаил, кругленький и пузатенький старичок с красным носом и бородкою в виде двух клоков невыттой овечьей шерсти, отец Геронтий, сухой и длинный, как сыромятный кнут, чернец, с лицом испостившегося «мурина», городничий старец Протасий – остробородый, с плутоватыми глазами постный лик. Тут же и мирские лица – сотник Исачко, уже сошедший со стены, и сотник же кемлянец Самко: первый – косою на оба глаза, но необыкновенно меткий пушкарь с вздернутым носом и бородою, второй – с ипокляпым носом рыжий мужик с рыжею, широкою, как лопата, бородою.

Тут же в кругу стоял и стрелецкий полуголова Кирша, которого накануне мы видели на мачте погибшего судна. Кирша не утонул: он погрузился было в море, но его зацепили багром за кафтан и спасли. У Кирши в руках какая-то бумага. Рядом с ним – тот монашек с козелковой бородкою, что читал на море воеводе книгу о преставлении государя и ве-

ликого князя Василия Ивановича.

Сборище у соборного круга увеличивалось с каждой минутой. Сошлись не только монастырские жители, но и пришедшие издалека, из всех концов Московского государства богомольцы и богомолки, из Архангельска, из Москвы, из Сибири, с Дону, Волги и даже из черкасской земли. Был тут и галанский немец из Амбурха-града, имевший торговый дом в Архангельске и часто наезжавший в Соловки для покупки у братии поташу, смолы и рыбьего зуба: это был бритый, круглощекий с голубыми глазами за пивною слюдой немец, и звали его Каролусом Каролусовичем. Каролус Каролусович тоже пришел любопытствовать, по какому случаю такой сбор в монастыре. Вместе с ним и с семейством архангельского купца Неупокоева, приехавшим поклониться соловецким угодничкам, вышла к собору и аглицкая немка, мистрис Пристлей, давно жившая в Архангельске с своим мужем, агентом одного лондонского торгового дома, мистером Пристлеем, и известная всем архангельцам под почетным титулом аглицкой немки Амалеи Личардовны Простреловой. Это была высокая сухощавая женщина с розовыми щеками, белыми и выдающимися, как у кролика, зубами и глинистыми, как перья у голубя в штанцах, волосами. Амалея Личардовна приехала в «Соловки» просто из любопытства, как туристка, посмотреть на это московитское, как ей казалось, уэстмингерское аббатство³⁸. В долгое пребывание

³⁸ Вестминстерское аббатство – усыпальница английских королей, государ-

в Архангельске она порядочно выучилась говорить по-русски и была особенно хорошо знакома с женою Неупокоева и его дочкою, семнадцатилетнею девушкой Оленушкою, с которыми теперь и пришла посмотреть на монастырское собрание и послушать, что там будет.

Когда они пришли к собранию, то увидели, что какой-то широкоплечий с сросшимися бровями стрелец, это был Кирша, подал архимандриту Никанору какой-то свиток с висевшею на шнурке черною печатью, а тот, развернув свиток и повертев его в руках как что-то такое, которое не знаешь, с которого конца и начать, передал в руки сухому монаху с лицом мурина, грамотею Геронтию.

Геронтий развернул свиток, нагнулся к печати, как бы обнюхивая ее, выпрямился, как смолёный шест, кашлянул, словно из бочки, и, тоже словно бы из бочки, начал что-то читать. Сначала ничего нельзя было разобрать, кроме отдельно выкрикиваемых слов «сие наше», «со-со-со-борное послание», «и завещание», «передаем и повелеваем неизменно хранить», «и по – и поко – и покорятся святей восточной церкви...». Далее отец Геронтий овладел трудностями дьяческой с завитками каллиграфии, и из бочки потекли плавно страшные слова.

– «Аще ли мя кто не послушает повелеваемых от нас и не покорится святей восточней церкви и освященному собору, или начнет прекословити и противлятися нам, – гремело

на весь черный собор, – и мы такового противника, данную нам властью от святого и животворящего Духа, аще будет от освященного чина, извергаем и обнажаем его всякого священнодействия и благодати, и проклятию предаем...»

При слове «проклятие» сдержанный шепот прошел по собору. Все груди, по-видимому, тяжело дышали. Все усиленно, мучительно-напряженно вслушивались в читаемое и едва ли многое понимали: понимали только одно – «проклятие»; кто-то кого-то проклинал... кого же, как не их, черную смиренную братию, братию рядовую, служек и грудников? А за что? Вон какие мозоли они понатерли на своих грубых ладонях, работая на святых угодничков Зосим – Савватея... А их проклинают... Трудно дышит братия, слышно даже это усиленное дыхание... Иные не то скорбно, не то укоризненно качают поникшими головами...

У отца Никанора ходенем ходят большие брови, а лицо все более и более краснеет. Старец Прогасий, оглядывая исподлобья черную братию, глубоко вздыхает. Один Исачко-сотник косит своими глазами на Кирщу-стрельца и как бы хочет сказать: «А попробуй, мы те покажем Кузькину мать...»

– «Аще же от мирского чина, – продолжают вылетать слова из сухой бочки, – отлучаем и чужда сотворяем от Отца и Сына и Святаго Духа, и проклятию и анафеме предаем, яко еретика и непокорника, и от православного всесочленения и стада и от церкви Божия отсекаем яко гниль и непотребен

уд, дондеже вразумится и возвратится в правду покаянием».

Отец Гёронгий передохнул и поправил на висках и на лбу волосы, потому что и на лбу и на висках проступал пот. От волнения и натуги свиток дрожал в его руках и печать на шнурке колыхалась. Сотник Исаченко от скуки, он человек ратный и письмо не его дело, его дело зелье нарядное да пищаль затинная, Исачко выследил над монастырем своего любимца голубя, турмана в штанцах, и искоса опять поглядывал на его отчаянные кувырки в воздухе.

– Чти дале, на нет чти, – нетерпеливо и дрожащим голосом понукал архимандрит.

– «Аще ли кто не вразумится, – продолжал отец Геронтий, – и не возвратится в правду покаянием и пребудет в упрямстве своем до скончания своего – да будет и по смерти отлучен и не прощен, и часть его и душа со Иудою предателем и с роспеншими Христа жидовы и со Арием и с прочими проклятыми еретиками, железо, камение и древесна да разрушатся и да растлется, и той да будет не разрешен и не разрушен и яко тимпан бряцай во веки веков, аминь!»

Многие стояли бледные, дрожащие. Одни робко, недоумевающе поглядывали друг на друга, другие с какою-то робкою мольбою смотрели на старого архимандрита. Отец Никанор – стар бывал человек, живал и на Москве, и архимандричал в Савином монастыре, и на глазах у царя бывывал, и царь его жаловал. Что-то он, отец Никанор, скажет? Али так-таки всех и выдаст головой анафеме? Али на них

и закона нет? А Никанор стоит, заряженный, как затинная пищаль. Губы его дрожат. Он вспоминает, как в Москве, лет пять тому назад, принудили его покориться собору, отречься, отплеваться от двуперстия и сугубой аллилуйи, пасть сметием и прахом под ноге Никона... И стыд за прошлый позор, и поздняя злость на свою тогдашнюю слабость потоком гнали его старую, но кипучую еще кровь от сердца к пунцовым щекам, к глазам... Вон Аввакум протопоп не убоится собора нечестивых и пребыть крепок, аки адамант и яко скала нерушим...

Оленушка, взглянув на Никанора, испуганно прижалась к матери. Ее синие, как морская вода под ясным солнцем, длинные глаза расширились и потемнели.

– А что дале, после аминя? – резко вдруг спросил Никанор.

– После аминя скрепа дьяка патриарша приказа, – отвечал Геронтий.

Никанор, взяв из рук его свиток и обведя глазами собор, выпрямил свое старое тело. Он видел, что грамота с проклятием произвела удручающее впечатление на всю братию и даже на ратных людей, преданных монастырю, между которыми, кроме местных поморов и усольцев, находилось несколько донских казаков, после поражения Стеньки Разина перекинувшихся с Волги на Белое море, на службу к соловецким старцам, ибо Стенька не раз говаривал своим удалым молодцам, что и он когда-то был в Соловках и маливал-

ся соловецким угодникам. Никанор всего более боялся, чтобы ратные люди, под страхом анафемы, не покинули монастырь на произвол судьбы, и потому сразу решил, что ему делать. Он подошел к Кирше, как к посланцу царского воеводы, и стал так, чтобы его видели ратные люди, особенно сотники Исачко и Самко.

– Ты почто прислан к нам? – спросил он громко посланца.

– Прислан я с грамотой, – отвечал Кирша, поводя сросшимися бровями.

– Мы вычли оное безлепичное лаяние патриарша дьяка и то бреханье на ветер пустили. Почто ж еще ты прислан к нам?

– Прислан я, – заговорил Кирша по-заученному, – от воеводы Ивана Мещеринова, чтоб вы, соборная и рядовая братья, добились челом великому государю...

– А потом что?

– Чтоб принесли великому государю вины свои...

Никанор перебил его, схватив за руку.

– Вин за нами перед великим государем нет и не бывало, и добивать нам челом великому государю не по что, кроме как молиться за его государское здоровье, и мы то делаем, – скороговоркою проговорил он. – Поди и доложись о сем твоему воеводе... Слыхал?

– По указу его царского пресветлого величества, – как бы не слушая его, продолжал Кирша, – воевода приказал вам монастырь отпереть и государевых ратных людей принять с

честью.

Никанор окончательно вспылел.

– Али твой воевода царским словом торговать стал! – закричал он. – Али пресветлое царское слово может исходить из такого поганого смрадного рта, как у твоего воеводы? Али у великого государя бумаги и чернил недостало, чтобы слово его пресветлое всякими пьяными глотками в кабаках выкрикивалось? А! Так, что ли?

Озадаченный Кирша не знал, что отвечать. Он догадался, что воевода сделал оплошность.

– Говори! – приставал к нему Никанор. – Как твой воевода смел украсть царское слово? Али он не знает, что царское слово, как и словеса Господа нашего Исуса Христа, либо в церкви, как святое Евангелие, должны возглашаться, либо царскою грамотою, по титуле, объявляться? А! Так вы этого не знали!

По собору прошел ропот одобрения. Головы поднялись уверенно, бледность сбежала с лиц. Исачко смело и дерзко измерял косыми глазами Киршу, как бы вызывая его на немедленную потасовку. Послышались выкрики: «Али на них и суда нету!», «Али они и впрямь своим дурным наше добро извести хотят!», «Чего их слушать! Воровство их знамое!».

Кирша стоял, как притравленный зверь, озираясь по сторонам. А прибывший с ним монашек испуганно топтался на месте, точно выглядывая норку или скважину, в которую

можно было бы юркнуть.

В это мгновение в самую середину круга протискался какой-то оборванец с длинными, как у простоволосой бабы, никогда не чесанными пасмами волос, падавшими ему на худое аскетическое лицо и на плечи. Оборванец был босиком, в одной, чужой, по-видимому, рубахе, которая была слишком длинна для него. Из-под рубахи виднелись голые, худые, как щепки, икры ног. На шее у него, как у цепной собаки, висела и при движении звякала тяжелая цепь, замкнутая большим замком у горла, ключ от которого был брошен в море. Оборванец держал в руках старую скуфейку, в которой, скукожившись в комочки, спали еще не оперившиеся, с золотым пушком, голубиные выводки. Оглянув круг и нагнув свою косматую голову подобно барану, собирающемуся драться, он затопал ногами и, припрыгивая, запел детским голосом:

Бушка-баран,
Не ходи по горам,
Убьют тебя —
Не пеняй на меня.

Многие вопросительно и испуганно переглянулись. Монастырь давно привык к разным выходкам и причудам своего юродивого: но всегда искал в его словах чего-либо пророческого, какого-либо иносказания и иногда, конечно, большею частью уже впоследствии, когда какое-либо событие совершалось, истолковывал их в пользу пророческого про-

видения своего юродивого. «А вишь Спирия-то блаженный предсказывал нам это тогда, да мы-то, грешные, не уразумели его святых словес, – говорили обыкновенно монахи, когда случалось что-либо неожиданное. – Вон тады, как с Москвы нам прислали книги с трегубым аллилуйем да с треперствием, Спиря-то все нам пел об трех «людях» да об «гулях»:

Люли-люли-люли,
Прилетели гули.

А стрельцы-то и были эти «гули» самые, а нам, глупым, и невдомек; а «люди» была та самая трегубая аллилуйя».

Так и теперь «бушка-баран» – это был не просто баран, а кто-либо другой: либо монастырь, либо стрельцы, что под монастырь пришли. «Не ходи, бушка, по горам, убьют тебя» – это что-то очень страшное. Кого божий человек предостерегает этим: братию ли, посланца ли этого? Кому быть убитым? Эти тревожные вопросы возникали в душе каждого. Одним казалось, что Спирия грозит посланцу, даже в него и лбом уперся; а другие ясно видели, что он будто бы показывал вид, что бодает отца архимандрита Никанора.

– Гулюшки, гули, – забормотал вдруг юродивый, нагибаясь к своей скуфейке, – а, проснулись, детки, естушки захотели.

Птенцы действительно поднимали свои пушистые с неуклюжими ртами головки и, видимо, искали пищи. Юродивый

тут же сел наземь, вынул из сумочки, что висела у него через плечо, горсть зерен, положил их себе в рот, пожевал и пригнулся лицом к скуфье. Птички широко раскрыли красные рты и сами полезли головками в рот юродивого.

Архимандрит Никанор, озадаченный было сначала появлением юродивого и его загадочными словами, скоро пришел в себя, и, обведя собор своими волосатыми бровями, обратился к Кирше с угрожающим жестом.

– Поди скажи твоему воеводе, чтоб он убирался подобру-поздорову: обитель преподобных Зосимы – Савватия не Петровское кружало.

Кирша выпрямился.

– Так это вы постановили? – спросил он глухо.

– Постановили и на том стоим, – отвечал Никанор.

– Так мы вас добывать станем, как государевых изменников, – резко сказал Кирша.

– Добывать!

Никанор обернулся и показал рукою на монастырскую стену. На стене в разных местах чернелись пушки, около которых стояли пушкари.

– Видишь, каковы у нас галаночки?

– Видим-ста: и у нас таких теток довольно – погорластее ваших будут.

– Что он похваляется своими тетками! – возразил Геронтий. – Нам не впервой спроваживать их: али не Игнашка Во-

лохов³⁹ сломал свои зубы об наши стены?

– Да и Ивлев Корнилко⁴⁰ ни с чем ушел, – заметил Никанор, – обитель-то преподобных Зосим – Савватия крепонька живет, сам святитель Филипп, митрополит московский⁴¹, стенки те выводил.

– Что с ним разговаривать! – слышалось в толпе. – Шеллепами его!

– Вон из обители! Вон нечестью! А то и на чеши посидите, – подхватили голоса.

³⁹ Волохов Игнатий – стряпчий, отправленный в 1668 г. из Москвы для умирения иноков Соловецкого монастыря, которые отказались принять нового архимандрита Иосифа. Волохов прибыл с сотней стрельцов, чтобы усмирить непокорных, но был встречен пушками и вынужден был предпринять многолетнюю осаду. Сам Волохов жил вместе с Иосифом в Сумском остроге. Они поссорились, стали писать друг на друга доносы в Москву, пока не были вызваны на суд в столицу.

⁴⁰ Ивлев Корнилий (по другим сведениям – Клим) – голова московских стрельцов, явился уже с 1000 стрельцов, перевел войска на самый остров, отогнал весь рабочий скот, захватил рыболовецкие снасти, сжег строения вне стен монастыря и пресек все сношения братии с их вотчинами. В 1674 г. царь отозвал его за серьезные притеснения монастырских крестьян.

⁴¹ Филипп (в миру Колычев Федор Степанович; 1507–1569) – митрополит московский с 1566 г. Принадлежал к одному из знатных боярских родов и начал службу при дворе великого князя Ивана Васильевича, впоследствии прозванного Грозным. В конце правления великой княгини Елены, в 1537 г., Колычевы приняли участие в попытке Андрея Старицкого захватить власть. Один из них был казнен, другие попали в тюрьму, а Федор Степанович тайно бежал в Соловецкий монастырь и, продолжая скрываться, постригся в монахи. В 1548 г. он стал соловецким игуменом и благоустроил обитель, в том числе укрепил крепостные стены монастыря.

Кирша видел, что его посольство кончено. Он поклонился Никанору и надел шапку.

– Долой шапку! Али не видишь, где ты? Ты перед черным собором! – загалдела черная братия.

Кирша повиновался, снял шапку и направился к монастырским воротам. За ним подтюпцем поспешал согнувшийся монашек. Городничий старец Протасий, у которого на поясе висел огромный ключ, сотники Исачко и Самко последовали за посланцами. Старец Протасий отпер одну четвертную складку массивных железных ворот и, пропустив Киршу и монашка, снова запер монастырскую твердыню.

Скоро рослая фигура Исачки вырисовалась на вершине стены. Он стоял, оборотясь к морю, и грозил кому-то кулаком.

III. Отбитый чернецами «вороп»

– Бог в помочь тебе, человече божий, – сказала Неупокоиха, смиренно подходя к Спири и низко кланяясь ему. – Благослови нас, грешных, да помолись твоими святыми молитвами о здоровий рабов божиих, меня, рабы божьи Акулины, да рабы божьи Олены, да раба божья Остафья.

При этом Неупокоиха положила перед Спирей золотую монету. Спирия в это время сидел на нижней ступеньке соборного крыльца и играл с своими птичками. Он молча посмотрел на купчиху своими серыми живыми глазами, глубоко запавшими, потом перенес их на Оленушку, которая робко взглянула на него и потупилась, готовая, по-видимому, заплакать, так дрожали ее губы и щеки подернулись алой кровью, как перед слезами. По лицу и по глазам юродивого пробежал свет и тотчас же как бы отлетел, а лицо подернулось туманом.

Молча полез он в свою сумку и, пошуршав там чем-то, вынул оттуда... Оленушка чуть не вскрикнула при виде того, что он вынул, а мать ее испуганно перекрестилась... Юродивый вынул из своей сумки человеческий череп. Это был желтый, потемневший костяк, который, вероятно, очень долго лежал в земле. Спирия долго смотрел на него, тихо качая косматой головой, потом снова перенес свой взгляд на Оленушку. Теперь в этом взгляде теплилось что-то доброе.

– Видишь это, раба божья Олена? – спросил он, обращаясь к девушке.

Та стояла молча и дрожала, прижимаясь к матери. Расширившиеся от испуга глаза готовы были брызнуть слезами. Нижняя губа сложилась в плаксивую складку.

– Видишь, Оленушка? – переспросил юродивый ласковее.

Молчит испуганная девушка. Не менее испуганная мать хватает ее за руку.

– Говори... молви словечко, дитяtko... Говори божьему человеку: вижу, мол, – бормотала она.

– Вижу, – чуть слышно прошептала девушка.

Юродивый замотал головой, взглянул на солнце, которое высоко стояло над монастырской оградой, снова перенес глаза на череп, перекрестил его, поцеловал и опять остановил свой взгляд на смущенном лице девушки.

– А она была похожа на тебя, – сказал он тихо, – только у нее глаза были черные, что крупный терн, а у тебя вон сини... Да она ж была грешница, а ты чистая отроковица... Молись же об ее душеньке, об рабе божьей Анастасее... Будешь молиться?

– Буду, – прошептала Оленушка и вдруг заплакала.

– Что ты! Что ты, дитяtko! – утешала ее мать. – Божий человек тебе святое слово сказал, что ж плакать? И я буду молиться об рабе божьей Анастасее, – говорила она, по-видимому, совсем успокоенная. – Кто ж она была, Анастасея-то?

– Гулюшки, гули, – заговорил юродивый, не отвечая на

вопрос и обращаясь к своим птенцам. – Ишь вор, отнял у вас матушку.

– А они сиротки? – участливо спросила Неупокоиха.

– Их матушку голубку Никон съел, – отвечал юродивый.

– Какой Никон, батюшка?

– Вор-ястреб.

– Ах, бедны сироточки!

Юродивый вспомнил о червонце, который положила у его скуфьи Неупокоиха, взял его и возвратил ей.

– Отдай сей сор сметие тем, у кого хлебца нет, – сказал он, – пущай помянут рабу божью Анастасею.

В это время подошла к ним аглицкая немка Амалея Личардовна. Увидев ее, Спирия торопливо схватил свою скуфейку с птичками и побежал, испуганно оглядываясь и бормоча: «Чур-чур-чур! бес во образе немки... бес с курьими лапками...»

– Это дурачок, матушка? – спросила она Неупокоиху.

– Нет, матушка Амалея Личардовна: он юродивый, урод Христа ради, – отвечала та.

– Так шут?

– Нету, матушка, не шут, помилуй Бог! – испуганно заговорила набожная купчиха. – Он божий человек, святой, что ты!

– А у нас в аглицкой земле таких юродивых нет, и есть токмо шуты, и они бывают умны гораздо, – настаивала аглицкая немка, которая хотя и давно жила в России, а все

еще многие стороны жизни поражали ее.

– Нету, нету, родимая, то шуты – особо статья: то у нас скомрахи, гудошники, бражники, а то уроди Христа ради.

Амалея Личардовна невольно вспомнила свою далекую родину. Вспомнила, как она, еще девушкой, в первый раз увидела своего будущего жениха в театре, и именно когда играли об одном несчастном старом короле, которого звали Лиром и у которого были три дочери. Там она видела на сцене и шута, такого же юродивого... А здесь в московской земле ничего подобного нет... И она невольно вздохнула, взглянув на солнце: и солнце здесь не такое, не так ходит, как в ее родной аглицкой земле, так низко ходит московское солнце...

– У нас в аглицкой земле я такового шута видала на театре, – сказала она, обращаясь к Оленушке.

– На чем? – с любопытством спросила девушка, которая уже много диковинного и непостижимого слышала от Амалеи Личардовны. – На чем, говоришь?

– На театре, Оленушка, – отвечала аглицкая немка. – Да я уж тебе сказывала о театре.

– А! Помню, помню... Это дом такой, палата большая, аки бы церковь, а в ней люди сидят на скамьях, да друг над дружкой, высоко, ряда в четыре, сидят и глядят на действие: выйдет это аки бы король, либо королева, либо принец, и говорят, говорят, либо подерутся нарочно, а то жених с невестой выдут, тож говорят о своем сердце... Ах, кабы мне посмот-

реть на все это!

– Что ты! Что ты, непутевая! – остановила ее мать, – в эком-то святом месте да об скомрахах... Вон и у нас на святках хари надевают да наряжаются, кто козой, кто медведем, кто бесом, тьфу! Не к месту бы сказать, грех какой!

Вдруг что-то грохнуло так, что все вздрогнули.

Неуспокоиха даже присела от испугу. Оглядевшись, увидела, что в одном месте над монастырской стеной клубился дым. Сотник Исачко стоял около пушки, над которой и подымался, тая в воздухе, белый дым, и смотрел куда-то в зрительную трубку. В других местах на стене тоже суетились ратные люди. Из келий торопливо выходили монахи, тревожно посматривая на стены.

– Пушкари, к наряду! По местам! – раздался зычный голос Исачки.

– Пушкари, по местам! – повторилась та же команда где-то в воротной башне, это распоряжался сотник Самко.

Почти в одно мгновение передовая монастырская стена усыпана была ратными людьми. Скоро на стене показались священники в облачении и монахи. В воздухе заблестели золотые и серебряные оклады икон, несомых по монастырской стене. Церковные хоругви, возвышаясь почти наравне с башнями, веяли в воздухе как крылья и скрипели огорлиями. Впереди процессии шел Никанор в архимандричьем облачении и митре, искрившейся дорогими камнями и бурмицким жемчугом, и, осеня серебряным Распятием пушки и ратных

людей, кропил направо и налево святою водой. Что-то чарующее, поражающее представляла эта картина, где, казалось, всю воинственную рать составляли черные клобуки. Со стены неслось пение нескольких сот голосов, большею частью старых, жалких, дребезжащих, как ослабевшие струны гуслей, но их подхватывали и молодые, сильные голоса, разносившиеся далеко по взморью чем-то глубоко трогательным и печальным. Казалось, древняя священная обитель отпевала себя заживо и кропила святою водой свою собственную могилу. И над всем этим стаи вспугнутых голубей, и выше всех в глубокой синеве слабо поблескивает белыми крыльями общий монастырский любимец, белый турман «в штанцах».

А там, внизу, на море, на голубой поверхности залива тихо покачивались суда, привезшие ратных людей, собиравшихся громить святую обитель. Кровавым пятном горел на солнце красный флаг воеводского судна. А еще ближе, по берегу, краснелись целые кровавые полосы: это красные кафтаны стрельцов, которые, переняв у немцев некоторые воинские хитрости, шли нога в ногу, поблескивая ружьями. Впереди несли тяжелый зеленый стяг с золотыми кистями. За ними медленно двигались, скрипя и покачиваясь в воздухе, какие-то чудовища вроде виселиц на толстых колесах: то были «тараны», стенобитные орудия, которыми предназначалось разбить в щебень стены, сложенные когда-то руками самого Филиппа, святителя московского, во время его печального изгнания. За таранами чернелись пушки, кото-

рые стрельцы везли на себе, лямками. Под зеленым стягом грузно переваливалась массивная фигура, сверкая шлемом и кольчугою: это был сам воевода, холоп его пресветлого царского величества, Ивашка Мещеринов.

Еще пение на стенах не умолкло, как послышалась резкая команда, еще никогда не слыханная пушкарями.

– Господи Иисусе Христе сыне Божий, по-милуй нас! – прозвучал на стене голос Никанора.

– А-минь! – отвечали сотники.

И разом грянуло несколько десятков пушек. Дым заволок стены, башни и самих пушкарей. Никанор осенял пушки крестом. Хор черной братии последними надорванными голосами грянул: «Спаси, Господи, люди твоя!» Внутри монастыря слышались крики и отчаянные вопли богомольцев, которых так неожиданно застигла страшная осада.

Исачко своими косыми глазами ясно видел, что пущенные им ядра не долетели до стрельцов, взрыв землю за несколько десятков шагов впереди их строя. Пушкари вновь зарядили пушки.

Никанор, весь красный, с каплями пота, засевшими в его волосатых бровях, ходил от пушки к пушке, кадил их и пушкарей и кропил святою водою.

– Матушки мои! Галаночки! – приговаривал он к пушкам. – На вас наша надежда, вы нас обороните!

Дым ладана смешивался с пороховым дымом. Пушкари, целуя крест, снова кидались к пушкам. Голос сухого Герон-

тия, как боевая труба, гремел среди плачущего и взывающего хора: «Спаси, Господи, люди твоя!..» Вопли внутри монастыря раздирали душу.

– Стреляйте, детушки, стреляйте! – кричал Никанор. – Да смотрите хорошенько в трубки, где воевода: в него, жирного, и стреляйте, детки! Коли поразим пастыря, ратные люди разойдутся, аки овцы.

Залпы следовали за залпами, ядра взрывали землю и разбивали камни, а стрелы все надвигались, и все виднее и виднее вырисовывались железные головы стенобитных орудий. Последовал залп и с той стороны. Ядра, как громадные орешины, защелкали по монастырской стене и с визгом отскакивали назад, отбивая куски камней и глины.

– В стяг-от, в стяг зеленый мети, Исачушко, друг! – молил Никанор. – Там воевода.

На стену вынесли запрестольный образ покровителей монастыря. Далеко блеснула золоченая риза и золотые с самоцветными камнями венцы вокруг темных ликів преподобных Зосимы и Савватия.

Никанор упал перед иконой.

– Святители! Угоднички! Не выдайте своей обители на поругание! – вопил он, ползая перед иконой. – Гляньте-ко с неба сюда! Махните, погрозите перстами святыми на еретиков!

А ядра все гуще и гуще стучат в стены, Исачко ревет на своих пушкарей.

– Дайте, братцы! – закричал он. – Дайте, душу свою вместо ядра и зелья засыплю в матушку!

И сам он зарядил пушку, сам навел ее и грянул.

Зеленое знамя упало, словно подкошенное. Взрыв радости огласил стены.

– Стяг упал! Стяг подбили! – кричали пушкари. – Любо! Любо! Еще катай!

Никанор, раскосмаченный, без митры, которую держал служка, бросился кропить и целовать пушку, которая поубавила московский стяг.

– Спасибо, матушка! Галаночка! Еще угоди, в воеводу угоди, родная!

Новые залпы расстроили передние ряды стрельцов. Стенобитные орудия остановились. Москвичи задумались.

В это время там, где остановились стрельцы, чтобы, немного передохнув, снова двигаться на монастырь, справа, на пригорке, показалась человеческая фигура. Неизвестный шел к стрельцам и что-то показывал им, поднимая руки. Со стены скоро узнали его: это был Спиря, который показывал стрельцам свою скуфью с птичками.

– Смотри-тко, братцы, Спиря! – закричали пушкари. – Ай-ай!

– Он и есть, братцы. Что он задумал?

Московские стрельцы, видимо, образ или внимание на этого странного человека. Все глядели в его сторону. Некоторые побежали к нему.

В это самое время слева, где рос кустарник, как из земли выросли люди. Прикрываясь кустарником, они приблизились на ружейный выстрел к правому крылу московского отряда. И их узнали с монастырской стены.

– Братцы! Да это наши там с казаками! – раздались радостные голоса.

– Наши! Ай да молодцы! В засад пошли...

Действительно, то была небольшая партия донцов вместе с молодыми и старыми монахами из рядовой братии, рыбаков и других трудников. Ярко оттенялись в зелени кустарника черные клобуки и скуфы.

И вдруг из кустарника раздался ружейный залп. Московские стрельцы дрогнули от такой неожиданности: они сразу поняли, что это засада. Некоторые из них, пораженные пулями, упали. В этот момент и крепостные пушки дали залп. Москвичи окончательно растерялись.

Никанор снова упал перед образом Зосимы и Савватия, который все еще оставался на стене. В старом мятежнике воскресла вся его молодая энергия, которая изменила ему в Москве, на соборе, где он постыдно, как казалось его фанатическому уму, отрекся от двуперстного сложения и сугубой аллилуйи. Этот стыд за прошлое горел у него на душе, жег его огнем: ему нужно было залить этот мучительный огонь совести, и он поднял мятеж во всем северном Поморье. С этим огнем в душе он простирался теперь перед иконой соловецких покровителей, под гром пушек.

– Святители! Великие угодники! Перстом их! Опалите перстом их вашим, аки молнью! – вопил он.

Потом, вскочив на ноги, снова бегал от пушки к пушке, кадил их и кропил с криком:

– Матушки галаночки, не выдайте! Родимые, громите их!

Косой Исачко и кемлянин Самко ревели не менее, распоряжаясь нарядом. Задымленные пороховой сажей, без шапок, то с банником в руке, то с дымящимся фитилем, они были страшны. Пушкари не отставали от них. Пушки накалились до того, что к ним нельзя было дотронуться.

– Уходят еретики! Уходят! – прошел по стене радостный крик.

– Наутек! Наутек! Улю-люлю! Улю-лю-лю!

– Святители! – с радостными слезами стонал Никанор.

Черный хор с ревушим Геронтием во главе дребезжал разбитыми голосами и гнусел до самого неба: «Взбранной воеводе победительная, яко избавльшеся от злых...»

– Хвалите Бога, отцы и братие! Кричите до самого престола Его! Господи! Владыко всесильный!

Приступ был отбит.

IV. Сиротская свечка перед господом

Странное, удивительное то было время. Маленький островок, едва заметный на карте, ничтожный огорбок, выползший из-под неизмеримых вод Северного Ледовитого океана, крохотная песчинка среди песков морских, Соловецкий монастырь отложился, ушел из-под державы великого неисходимого Московского государства, и московский великий государь, с божьею помощью подклонивший всю Малую и Белую Русь, и царство казанское, и царство астраханское, и царство сибирское со всею необъятною Сибирью, великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великие и Малые и Белые Русии самодержец, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, государь псковский и великий князь литовский, смоленский, тверской, волынский, подольский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода низовские земли, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кондинский, витебский, Мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь иверские земли, карталинских и грузинских царей и кабардинские земли, черкасских и горских князей и иных многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич и наследник и государь

обладатель (таков был полный титул Алексея Михайловича, и за прописку хотя единого слова в этом титуле дьяка постигало обычное наказание: «бить батоги нещадно»), и такой, повторяем, могущественный государь в течение восемнадцати лет не мог подклонить под свою державную руку этого отбившегося от великого российского стада ягненка. Да и не до того тогда было. Повторяем: то было странное, удивительное время.

Эпитет «тишайший», приданный Алексею Михайловичу его современниками и вполне его характеризовавший, совсем не подходил к характеристике его царствования, полного бурных событий. Он был кроток, набожен, со всеми ласков, с необыкновенно привязчивым сердцем. Он искренно любил Россию, свой народ и всем сердцем желал ему добра, счастья, благоденствия. Его голубиную душу глубоко ценили все его приближенные, с которыми он обходился с отеческой нежностью, и если иногда и наказывал царедворцев за упущения по службе, только не за злоупотребления, то истинно по-отечески: любимое его наказание было купать бояр в пруду. Вот что он сам писал об этом своему стольнику, Матюшкину: «Извещаю тебе, что тем утешаюся, што стольников купаю ежеутр в пруде. Иордань хороша сделана, человека по четыре и по пяти и по двенадцати человек, за то: кто не успеет к моему смотру, так того и купаю; да и после купания жалую, зову их ежеден, у меня купальщики те едят вдоволь, а иные говорят: мы-де нарочком не успеем, так-деи нас

выкупают, да и за стол посадят: многие нарочком не поспевают...» И царь доволен, тешится, и выкупанные царедворцы довольны, и ни один не простужался, кушая в мокрой одежде, разве что насморк схватит, который послабее... Да что тогда и за насморки были, когда без платка сморкались!.. Таковы были люди, таковы были у них и нервы...

И это-то благодушное царствование благодушнейшего и «тишайшего» государя оказалось самым бурным, роковым для России, государственно и духовно расколовшим ее надвое, на две половинки, которые доселе, через два столетия, не могут спаяться воедино.

Что же это был за клин такой чудовищный, который расколол такое громадное, вековое дерево, как Московское царство, расколол надвое от ветвей и вершины до корня? И где нашелся еще более чудовищный обух, который вогнал этот страшный клин в вековой московский дуб, вогнал так, что расщепил его надвое? Чья, наконец, была та богатырская рука, которая направила сокрушительный обух на московский дуб?

На эти страшные вопросы во вкусе бессмертного Иоанникия Галятовского⁴² можно отвечать только в его вкусе, метафорически.

Великий клин, расколовший Московское царство, был –

⁴² Иоанникий Галятовский (ум. в 1688 г.) – писатель XVII в., ректор Киево-Могилянской академии, затем архимандрит Черниговского монастыря, издавший свои проповеди в книге «Ключ разумения» (1659).

идея. Идея, в каком бы виде она ни входила в государство, в общество, в семью, всегда входила клином в живое тело и расщепляла его: входила ли она в виде живого слова, проповеди, в виде киши, в виде знания, она всегда и везде одними усваивалась и принималась, другими отрицалась. Принимали ее обыкновенно или почему-либо равнодушные к господствующим понятиям члены государства, общества и семьи, или же члены молодые, юные, для которых господствующие понятия не стали еще делом привычки, чем-то дорогим, своим. Отсюда являлось раздвоение мнений в государстве, в обществе, в семье: отсюда раскол в обширном историческом смысле слова, разделение на «приемлющих и на nepřиемлющих», на людей «новых» и на людей «старого порядка». Эту идею во время Алексея Михайловича была книга, и притом печатная, потому что в Москве завелась первая типография, занесенная из Киева, из того места, откуда заносилось в Древнюю Русь все лучшее – христианство, просвещение, печать. Прежде всего, конечно, нужно было напечатать самые важные, самые необходимые книги. А таковыми были книги богослужebные. Начали печатать их. Но с какого оригинала наборщикам набирать их? Надо было найти лучшие, правильнейшие оригиналы. Собрали их. Стали сверять, оказались незначительные разноречия и в иных описки, которые от древности вошли в привычку, как, например, «Исус» вместо «Иисус». Книги сверили с греческими подлинниками, исправили и напечатали. Тогда люди привычки, ста-

рые люди отказались принять новые книги... Клин остановился в дереве – ни взад ни вперед...

Тогда является обух и бьет по клину. Клин, повинуясь страшной силе обуха, входит в дерево и расщепляет его надвое. Обух этот – Никон: он проклял не приемлющих новые книги... те оцетинились...

Рука, двигавшая обухом – Никоном, было время: «присие бо час»... Приспе час и Московскому государству дать у себя место печати, книге, новой идее...

Соловецкий монастырь вместе с прочими людьми старого склада не принял новых книг и откололся от Московского государства. Нашлись было и в этом монастыре «новые люди», молодые попы, которые начали было служить по новым книгам; но их «архимандрит» велел «сечь плетьюми», и они покаяться после вторичного сеченья.

Вскоре и сам Никон, так сказать, «отложился». Оскорбленный невниманием царя, который не иначе прежде называл его, как «собинным другом», Никон бросил патриарший престол и ушел в монастырь, показывая на стоявшую в то время на небе комету:

– Да разметет Господь Бог вас оною божественною метлою, иже является на жни многи!

Он заперся в своем монастыре и сидел там ровно девять лет. Потом его судили и «обнажили» высокого святительского сана... «Откололся» таким образом и Никон, но не от новых книг...

Затем через год или два после суда над Никоном Стенька Разин «отколол» от Московского государства всю юго-восточную окраину... Так до того ли было Московскому государству, чтоб думать об отложившемся ничтожном островке на Белом море, о Соловецком монастыре... Вот и сидят себе старцы в своей обители и поют по старым книгам...

Разина берут и помещают его буйну голову на кол.

Москву очищают от главных вожakov сопротивления по-вой идее – новым книгам: протопопа Аввакума и других воротил «отколовшегося» московского общества ссылают в Пустозерск.

Остается один Соловецкий монастырь. Покончив со всеми, принимаются и за него. Шлют туда стряпчего Игнашку Волохова с ратными людьми. Черная братия принимает Игнашку в пушки и прогоняет от своих стен.

Шлют стрелецкого голову Корнилишку Ивлева со стрельцами, и его встречают «галаночками» и гонят, аки волка из овчарни.

Шлют, наконец, воеводу Ивашку Мещеринова с целою флотилиею, с пушками и стенобитными орудиями. И Ивашку принимают в «галаночки».

После неудачного приступа Мещеринов отошел к своим кочам. А монастырь, усилив караулы поблизости стен и подмонастырского хоромного строения и амбаров, вошел снова в обычную жизненную колею. Но через три дня после приступа случилось обстоятельство, которое послужило нача-

лом рокового, трагического исхода «соловецкого сиденья».

Старшая начальная монастырская братия, архимандрит Никанор, келарь Нафанаил, городничий старец Протасий и монастырский законник и грамотей Геронтий сидели в трапезной келье и занимались монастырскими делами. Все они сидели на лавке, а Геронтий у стола, на котором лежали бумаги, книги в кожаных и сермяжных переплетах, свитки и стояла медная большая с узеньким горлышком и ушками пузатая чернильница с воткнутою в нее камышевою для письма «тростию». Утреннее солнце, проникая сквозь узенькие, зеленого стекла, с железными решетинами окна, бросало зеленовато-радужные светлые пятна на бумаги, на серьезные лица братии и на согнувшийся над бумагою широкий затылок Геронтия. У порога стояли два мужика в синих рубашках и усиленно встряхивали волосами, стараясь понять то, что читал нараспев Геронтий.

– «...А который человек по грехом от своих рук утерьятца, или в лесе с дерева убьетца, или колесом и возом сотрет, или озябет, или сгорит, или утонет, или утопленник водою припловет, а то обыщет без хитрости, что которой от своих рук истерьятца и с тех веры за голову не имати», – читал Геронтий и на этом месте поднял свою черную голову.

– Не имати, – повторил отец Никанор в раздумьи, – стало, на вас поголовщина не падает, – глянул он на мужиков.

Мужики потоптались на месте. Из них низенький, с бородавкою на скуле и белыми финскими глазами смело выста-

вил правый локоть вперед и заложил большой палец правой же руки за подпояску, на которой сбоку болтался деревянный гребешок, которым можно было расчесать разве только хвост у лошади.

– Кака, отцы, поголовщина? – сказал он уверенно.

В то время в келью вошел молодой, высокий чернец. Черные говорливые глаза под крутыми бровяными навесами, широкие скулы, редкая черная борода, маленькие мягкие усы, не прикрывающие мясистых красных губ, и тщательно заплетенная коса изобличали в нем не худородного чернеца, да и одет он был чисто. Войдя в келью, он помолился на образа и, сделав шаг к Никанору, поклонился в землю.

– С чем? – спросил архимандрит.

– С челобитьем, святой отец, – отвечал чернец отрывисто.

– А в чем твое челобитье?

Чернец вынул из-за пазухи сложенную вчетверо бумагу и с низким поклоном подал архимандриту, который, не развертывая бумаги, глядел на просителя.

– Жалоба мне, святой архимандрит, на купецкую женку, на Неупокоеву.

Архимандрит, видимо, удивился. И другие отцы глядели на просителя с удивлением.

– На-кось, вычти, – сказал Никанор, передавая бумагу Геронтию.

Тот медленно развернул челобитную, разглядел ее и, защищая своею тенью от солнца, стал читать.

– «...Государю архимандриту Никанору еже о Христе с братьею бьет челом нищей государев сиротинка и ваш богомолец, соборной попишко, иеромонашишко Феклиско. Жалоба мне нищему твоему государеву сиротинке на купецку жену Неупокоеву, на Акулину Иванову из Архангельского города. В нонешнем, государь, во сте восемьдесят первом году, месяца иуния во 2-й день, приходила та Акулина с понахидою и подала мне нищему вашему государеву сиротинке и холопишку поминанье с большим предисловием. И яз нищей ваш поминание у нее взял и стал читать родителей Акулининых. И та Акулина мне нищему вашему стала говорить: прочитай-де и все. И яз нищей ваш стал ей говорить: Акулина Ивановна, много прочитал, не одна ты. И она, государь, Акулина, возгордев богачеством своим, учала меня нищего бранить лодыжником, и долгогривым шпынем и кутьею называть и мучителем обзывать при народе. И яз нищей ваш государев, не хотя от нее позору и терпети, ее легонько взашей вывел вон из церкви, а она сильною мне чинилася, упиралась и кукиш мне якобы с маслом в нос совала. А на-завтрее приволокся я по челобитью к богомолке бабе Нениле понахиды служить, и та же меня Акулина нищею вашею собакою называет, и жеребцом, и кобыльею головою, и бранит всячески неудоб сказаемо. Умилосердися, государь, святой архимандрит Никанор, пожалуй на ту Акулину Иванову дочь свой праведный сыск и оборонь, что мне вашему государеву богомольцу и холопишке от ее позорные брани и бесчестие

нигде от ней ходу нет, ни в кельях, ни в церкви божи, от ее брани и позору чтоб мне нищему вашему государеву богомольцу впредь как жиги у престолу соборные церкви под твоим государя своего благословеньем и жалованьем. Государь, святой архимандрит Никанор, смилуйся пожалуй».

Отец Геронтий, кончив читать, подозрительно взглянул на челобитчика. Мужички у порога переглядывались, и моргающие глазки низенького мужичонка как бы подмигивали товарищу: «Знаем-де мы его, кочета брудастого, всех наших кемлянок перетоптал». Архимандрит глядел сердито, двигая, как таракан, своими волосатыми бровями.

– Не затейно ли ты, малый, написал? – кинул он на него недоверчивый взгляд.

– Для чего затейно, государь?

– Для чего! По твоей дурости... Она, Неупокоиха, баба статейна и усердна: ежегод вклады дает на монастырь, да и ноне пять бочек беремьянных вина ренсково пожаловала на обитель... Я поспрошаю у ней.

– Сыщи, государь.

– А послухи есть? – повторил вопрос архимандрит.

Челобитчик замялся.

– Видоки были? – повторил вопрос архимандрит.

– Она, государь, шпынем, кобыльей ладоницей лаяла.

Мужики переглянулись... «Так-де и бабы-кемлянки зовут его», – говорили глазенки низенького.

– А при свидетелях было? – переспросил городничий.

В дверях показалась косматая голова и скуфья в руках. Мужики торопливо расступились. Юродивый вбежал радостный, восторженный.

– Бегите, отцы, молиться... у нас светлый праздник, – заговорил он возбужденно.

Все смотрели на него недоумевающе и со страхом. Знали, что Спирия даром не станет радоваться.

– Что ты, Спирия? Не мешай нам, мы церковное дело строим, – строго сказал архимандрит.

– Какое дело в праздник! На дворе велик день!

– Какой велик день?

– Все свечи зажжены... все паникадила... до Бога полымя...

– Да что с тобой?

– Я плясать хочу, вот что... Сам Бог глядит на нас, а вы – на! Вокруг дурна возитесь...

Он искоса взглянул на чернеца-челобитчика. Между тем со двора доносился какой-то сметанный гул. Соборный колокол загудел беспорядочно, набатно...

– Сполох, отцы! – тревожно, шепотом заговорил архимандрит, озираясь на всех и вставая.

– Трезвон, великая служба, разлили малина! – радовался Спирия и прискакивал.

Все поспешили на двор. Там уже был весь монастырь на ногах. По небу ходили клубы дыму.

– Угодья горят! Кругом пожара! – слышались тревожные

голоса. – Это они, злодеи!

– Все, все свечечки теплятся к Богу, весело! – твердил юродивый, поспешая вместе со старцами на монастырскую стену.

Действительно, когда старцы вышли на стену, то с ужасом увидели, что весь остров точно утыкан горящими свечами, огненным кольцом было опоясано все пространство на несколько верст от монастыря. Они горели ровно, тихо, потому что и в воздухе стояла тишина, только в иных местах полымя поднималось высоко и широко, как все уставленное свечами паникадило, а в других местах теплились одинокие копеечные свечечки. Это горели монастырские дровяные склады, скирды многолетнего запаса сена, постройки для рыбного и звериного лова, монастырские карбасы, рыболовные и звероловные снасти, все, куда ни глянешь, горело и дымило, восходя к небу клубами дыма. В просветах пламени виднелось темно-синее море. Птицы носились в воздухе, оглашая весь остров криками. К этому примешивался ужающий рев скотины и ржанье лошадей.

Старцы стояли безмолвно, как бы вдумываясь в глубину страшного явления, совершавшегося на их глазах. У Никанора седые брови окончательно надвинулись на глаза и судорожно вздрагивали. Отец Геронтий, казалось, еще более высох и вытянулся в кнут. В стороне раздавались возгласы негодования: «Злодеи! Богоотступники! Да они хуже татар! Изверги!»

Один Спирия, казалось, ликовал. Он радостно поскакивал и то говорил с своими голубками: «Гулюшки-гули», то бормотал вслух: «Ай да Иванушка дурачок!

Мещеринушка воевода! Умно сделал, почистил нас, а то уж мы больно грязно жили, жирно ели, сладко пили, мало Богу работали... ай да Иванушка! Затеплил нашу сиротску свечечку перед Господом...»

Ждали вторичного приступа стрельцов и приготовились к отражению их; но приступа на этот раз не было, он был впереди.

V. Огненный монах и послание Аввакума

Когда в монастыре убедились, что Мещеринов не намерен брать стены на ворон, добывать монастырь «наглостно», а умыслил измором извести святую обитель, временем и голодом истомить и стал для того вести подкопы под землю, насыпать валы да строить городки, то черная братия опять созвала собор: что делать? на что решиться?

На собор созвана была только черная братия, а из мирян приглашены лишь сотники Исачко Бородин да Самко кемлянин. Собор был в трапезе.

Только что Никанор, перекрестясь на образа и поклонившись черному собору, хотел было говорить, как в трапезу вошел Спирия, а с ним никому не ведомый монах. Он был сух, как отец Геронтий, но только ниже его значительно, с огненного цвета волосами, черными, запавшими, но горевшими фосфорическим блеском глазами и с лицом, изборожденным морщинами. В руках его был железный посох с крестом вместо ручки. За поясом берестяной бурак. Босые ноги, по-видимому, никогда не знали сапог, ни даже лаптей.

Огненный монах вошел, потупя голову, потом поднял глаза к переднему углу, помолился и земно поклонился передовым старцам, а потом в пояс на все четыре стороны.

– Мир обители сей и благословение божие, – произнес

пришлец.

– Аминь! – глухо повторил весь собор.

Пришлец опять поклонился.

– Кто еси, человече, и откуда пришествие твое? – спросил архимандрит.

– Что ти во имени моем? Аз есмь птица божья, зверь лесной пред Господом. А пришествие мое от стран полуночных, из страны далекие, из града Пустозерска. Мене послал блаженный протопоп Аввакум.

При имени Аввакума по собору прошел ропот удивления. Слава этого имени разнесена была во все концы Московского государства: он высился в глазах всех, как единый крепкий алмазный столп среди падающего правоверия.

– С чем прислал тебя отец Аввакум? – спросил Никанор, обрадованный и в то же время видимо смущенный.

– С рукописанием, – отвечал огненный чернец.

– К нам? К соловецкой обители?

– К вам, отцы.

Все ждали, что пришлец сейчас подаст письмо. Но он оглянулся, ища кого-то глазами. Глаза остановились на юродивом, который сидел на полу и улыбался.

– Али печать не сломишь? – спросил он, продолжая улыбаться.

– Не сломя, брате, крепка.

– Так визгалочку, поди, дать?

– Визгалочку бы.

Спиря полез в свою сумку и вынул оттуда подпилоч, по-видимому, заранее приготовленный. Все с недоумением смотрели, что дальше будет. Огненный монах стал раздеваться среди собора: распоясался, снял полукафтаны и очутился в власянице и портах. Власяница была до того жестка, словно бы она была соткана из тонких колючих проволок. Ропот удивления опять, как ветерок, прошел по собору. Огненный чернец снял и власяницу... Собор ахнул! Сухое тело было обтянуто железными обручами, словно разваливающийся бочонок, буквально оковано железом, которое так и въелось в тело и во многих местах проржавело, там, где было до мяса и почти до кости протерто тело... То было странное и страшное время: гонения, воздвигнутые на людей, не признававших новых книг, на людей старого мировоззрения, которых новый исторический клин отколол от «новых людей», выработали изумительные характеры подвижников старой веры, и чем нагнетение на них было острее, тем более обострялся фанатизм преследуемых и, по общему историческому закону, тем более росло их стадо: ничто так не ускоряет рост и не способствует густоте леторослей на дереве, как подрезывание их...

Собор содрогнулся, увидев это худое, искрещенное железными обручами тело. Вокруг пояса обвивалась железная же полоса, шириною в три пальца. Она окончательно въелась в тело, так что краев ее не было даже видно. Полоса спереди замыкалась замком, который висел на двух сходящихся

плотно проушинах.

Спиря стал пилить дужку у замка.

– Но нет ли ключа? – с дрожью в голосе спросил Никанор, весь бледный.

– Ключ у Аввакума на кресте, – был ответ.

– О-о-ох! – простонал кто-то в толпе. – Господи!

Подпилочек визжал по нервам... но тогда нервов не знали... он визжал прямо по душе, и притом по грешной душе... Все чувствовали эту визготню там, в себе, глубоко, и им чудились муки ада: горящие смолою котлы с плавающими в них людьми; люди, жарящиеся на громадных сковородах, словно осетры; пилы, визжащие по костям и по становым хребтам грешников; крючья, на которых висят подвешенные за ребра люди; клещи, вытаскивающие языки и жилы из рук и ног...

Визжит-визжит-визжит подпилочек! Со Спири пот градом катится...

– Сме-ерть моя! – выкрикнул кто-то, и Исачко сотник упал в ноги пришлецу и стал страстно их целовать: это была увлекающаяся, детская натура: как он увлекался белым голубем «в штанцах», так теперь и этим...

– А! Донял! – добродушно улыбнулся Спиря. – Это не пищаль, брат, не гуля в штанцах.

Дужка замка распалась. Замок звякнул о каменный помост. Все вздрогнули.

– А как ты, миленький, к нам попал? – спросил Никанор, все еще бледный.

– Вот дурачок привел, из Анзерского скита, – указал пришлец на Спирию.

– А ты уж и там побывал? – удивился архимандрит.

– Не я, а мои ноги, – отвечал Спирия.

Исачко, поднявшийся с полу, стоял красный, совсем растерянный. Косые, добрые глаза его моргали, как бы собираясь плакать. Огненный чернец глядел на него с любовью и грустью. Черная братия тискалась вперед, чтобы ближе рассмотреть «подвижничка». В трапезе становилось неизобразимо жарко.

Когда Спирия рознял поясной обруч на пришельце, под обручем оказался узкий, уже обруча, кожаный пояс. Спирия вопросительно посмотрел на своего гостя.

– Чик-чик? – спросил он.

– Чик-чик, – ответил тот, улыбаясь.

Сниря бросился к столу и достал из него нож.

– Тут чикать? – спросил он, указывая на живот.

– Тут, – был ответ.

Пояс разрезан и снят. В нем оказалась завернутою длинная, узкая, сложенная вчетверо полоса бумаги. Сниря развернул ее.

– Ишь, как намелил протопоп, – проворчал он, – мачком обсыпал бумажку.

Никанор дрожащею рукою взял от него бумагу. Геронтий подвинулся к нему, протягивая руку.

– Соборне вычесть? – нерешительно спросил Никанор ог-

ненного чернеца.

– Соборне, – отвечал тот, надевая на себя опять власяницу и полукафтанье.

– Благословись, отец.

Никанор подал бумагу Геронтию. Геронтий перекрестился, а за ним руки всего черного собора поднялись ко лбам да на плечи. Спирия сел на полу и стал кормить своих голубей.

– «...Всем нашим горемыкам миленьким на Соловках, – начал Геронтий, – протопоп Аввакум, раб и посланник Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, благодать вам, отцы и братия, и чада, и сестры, и дочери, и ссущие младенцы! Послышал я здесь, сидя на чеши в земляной яме, что вы, яко подобает воинам Христовым, ратоборствуете добре супротив проклятых никониан. Честь вам и слава, стрельцы Христовы! И Никанорушка, свет архимандрит, осквернив руку свою и душу троеперстием, ныне чу кровью омывает пятно то с души своей. Спасибо, свет Никанорушка!»

Куда девалась бледность архимандрита! Он стоял багровый, а из-под седых нависших бровей текли слезы и разбивались в брызги о перламутровые четки.

– «...Хвала тебе, воеводушка и стратиг правоверия! Похвала всем вам, стрельцы божьи в клубуках, и вам, сотнички добрые, и ратные люди, и миряне! Обнимаю вас всех о Христе, длинны су руке мои: всю Русь правоверную обнимаю, яко невесту богоданную».

И Исачко стоял красный как рак.

– Исакушка, слышишь? – прошептал Спиря.

– Нишкни, друг, – отмахнулся тот.

– «...Молю всех вас, страждущих о Христе, кричу к вам из ямы моей, из сени смертной, руке мои простираю к вам из земли, из живой могилы, в ню же ввергоша меня сатанины сыны, молю с воплем и кричанием, откликнитесь, светы мои миленькие: еще ли вы дышите, или уже сожгли вас, что лучину Христову, или передавили, или в студеное море что щенят перетопили? Нет чу? Дай-то Бог. А коли нету, именем Божиим заклинаю вас: претерпим зде мало от никониан, претерпим и кнут, и огонь, и костей ломание, претерпим миг един смертный, яко молния краткий, да Бога вечно возвеселим и с ним вместе возрадуемся. Ныне бо в зеркале гадания, тамо же, за гробовой доской, за костром, за виселицей, лицом к лицу Его, Света нашего, узрим. Ныне нам от никониан огонь и дрова, земля и топор, нож и виселица, могила без савана, похороны без ладану; вместо пения “плачу и рыдаю” кричание и рыдание секомых и пытаемых, вопление жен и детей, гугнение урезанных языков; там же ангельские песни и славословие, хвала, и радость, и честь, и вечное ликование в царских венцах. Яра ныне зима, ох яра, студена, но сладок тамо и тепел рай; болезненно терпение, но блаженно восприятие. Того для да не смущается сердце ваше; и я здесь, миленькие мои светы, в землю скачу и ликую, что собачка на цепи: близко венец царский, вот-вот рукою достаю. Так-то, светы. Всяк верный не развешивай ушей, не раздумывайся,

гляди с дерзновением в огонь, в воду, в яму глубокую, против ядра и пищали, иди и ликуй и скачи: под венец идешь, на царство. И его-то, нашего батюшку-царя, тишайшего миленького света, нашего “свете тихий”, они, сатанины сына, смутили. Да добро! Его сердце в руце божии: сам Бог ему персты сложит истово и светлы оченьки ему откроет. Любо мне, радостно, светики мои, что вы охаете: “Ох! ох! ох! как спастися? искушение прииде!” Чаю су ох, да ладно так, ладнехонько: а вы, светы, меньше спите, убеждайте друг друга, вас много, кричите Бога, услышит за тридевять земель, увидит за синими морями за окиянами: у него чу очи не наши, всевидящи. А я играю, в земле сидя что сурок зимой, плещу руками, звеню цепями, то гусли мои звончаты, аки райская птичка веселюсь, а меня едят вши, добро! Пускай их! Меньше червям останется. Пускай, реку, диавол-от сосуды своими погоняет от долу грязного сего к горнему жилищу и в вечное блаженство рабов Христовых. Идите же ко Христу, светы мои. Приношу вас и себя в жертву Богу живу и истинну. Богу животворящему мертвые и сожженные в золу. Сам по Нем аз умираю и сам того желаю. Станем же добре, станем твердо. Лице не ныне, умрем же всяко, а из нас, что из зерна горушна, выростут тьмы тем. Помяните первых христиан. Ныне что! Ныне игралище, шутки, широкая Масленица нам: нас жгут и вешают в одиночку, а тогда, светы, посекали секирами главу по сорока тысяч, топили в озерах по полутрети до четверты тысяч, жгли без числа, что лес. А что взяли!

Из двенадцати апостол стали тьмы тем верующих. Тако и из нас. Сожгут одного из нас, что из золы-то выйдет! А та зола, светы мои, семя новое: сколько золинок, праху сего от сожженного тела пустят по свету, сколько новых верных вырастет из тех малых золинок. Отрубили у кого голову, ино та голова зерном стала, и отродится то зерно из могилы самсот, сам-тысяч: ни едина рожь так не родит, ни ячмень, как голова мученика. Это верно, други. Посеки один дуб, ан сто дубков пойдет от корня. Так-ту! Вон меня еще не посекали, а еще расту, старый дуб, а из меня уж вырос во какой молодой дубок. Терентьюшко млад, что к вам сие мое писание принесет, коли Господь сподобит. А был он стрелец московский, караульщик мой, и замкнуты мы с ним здесь в Пустозерске, что собаки на одной цепи, в яме жили да Христос среди нас. А теперь на! Как познал прелесть света и мое тюремное веселие, из тюремщика сынком мне миленьким стал».

– И-и! Хигер су, вор Терешка! – дергал Спирия Исачка за полу, показывая на огненного чернеца.

– А что он? – удивился Исачко.

– Вон приковал себя ко Христу веригами, ну и любо ему со Христом-ту.

– Уж подлинно, ах!

– «...Стойте же, светы, не покоряйтесь, да страха ради никонианска не впадете в напасть, – продолжал Геронтий. – Иуда апостол был, да сребролюбия ради ко диаволу попал, а сам диавол на небе был, да высокоумия ради во ад уго-

дил, Адам в раю жил, да сластолюбия ради огненным мечом изгнан и пять тысяч пятьсот лет горячу сковороду лизал. Помните сие и стойте, светы, держитесь, крепко держитесь за Христовы ноги да за Богородицыны онучки. Они, светы, не выдадут. Аминь».

Голос Геронтия смолк. Сотни грудей, долго не дышавших от внимания, теперь дохнули ветром.

– Аминь! Аминь! – застонала трапеза.

– Будем стоять! Будем держаться за Христовы ноги да за Богородицыны онучки.

– Добре! Добре! Любо! Умрем за крест, за два перста!

– Потерпим за сугубую аллилуйюшку матушку! Посгрядем!

Голоса смешались, словно на базаре. Слышалось и «за Богородушку», и «за аллилуйюшку», и «персточки-перстики родимы...».

– А за батюшку «аза»! Ох, за света «аза» постоим! – перебил всех голос юродивого.

Многие смотрели на него вопросительно, не зная, о каком «азе» говорит он.

– Не дадим им «аза»! – повторял юродивый.

– Какого «аза»? – обратились некоторые к архимандриту.

– А в «Верую», – отвечал тот, – в «Верую во единого Бога» – там сказано: «и в Господа нашего Исуса Христа, рожденна, не сотворенна». А никонианцы этот самый «аз»-от и похерили, украли целый «аз»...

– Батюшки! «Аз» украли! Окаянные!

– Так, так, братия, – подтверждал Никанор, – велика зело сила в сем «азе» сокровенна: недаром в букваре говорится: «аз ангел ангельский, архангел архангельский...»

– Ай-ай-ай! И они, злодеи, украли его, батюшку?

– Украли, точно злодеи.

Послание Аввакума внесло такую страстность в это черное сборище, что все готовы были сейчас же идти в огонь, на самые страшные муки. Страдания, и притом самые нечеловеческие, стали для этой нафанатизированной толпы высочайшим идеалом, к которому следовало идти неуклонно, мало того, не идти только, а бежать, рваться со всем безумием мрачного ослепления. На Никанора послание это подействовало как бич на боевого коня и как елей на старые, трущиеся в душе раны. Аввакум, мнения которого он трепетал после публичного отречения от двуперстия, Аввакум, ставший центром и светочем борьбы за старые начала, выразителем силы, ей же имя легион и тьмы тем, этот Аввакум шлет ему привет и хвалу, бросает и на него луч своей мрачной славы. Исачко-сотник, необыкновенно впечатлительное и страстное дитя природы, тоже вспыхнул как порох от послания Аввакума.

А тут еще этот огненный Терентьюшко в потрясающих душу веригах, Терентьюшко, бывший стрелец, тюремщик и мучитель Аввакума, какие ужасы он сообщил!

Для большего нравственного и физического истязания

Аввакума в Пустозерске, где его засадили в глубокую сырую и холодную земляную яму, к нему приковали его сторожа-тюремщика, этого самого стрельца Терентия, с тем расчетом, чтобы тюремщик был всегда при арестанте, а в случае, если арестант совратит его, то чтоб все-таки они оба были на цепи и не могли бежать. Но когда увидели, что Аввакум действительно совратил огненного Терентьюшку и этот тюремщик стал молиться на своего колодника, то Терентьюшку сослали в Обдорск, а к Аввакуму приковали бесноватого... Терентьюшко бежал из Обдорска и стал подвижничать, заковал себя всего в железо...

Когда, наконец, черный собор несколько поуспокоился, Никанор стал держать речь.

– Так будем же, отцы и братия, сидеть крепко, Бог даст, отсидимся. А не отсидимся, ино теперь же, загодя посхимимся все: как приспеет час итить ко Христу свету сего временного жития, так пойдем в путь-от во схимах. Эка радость будет Христу, как придет к нему наша черная рать, не махонька ратеюшка придет к нему черных стрельцов...

– А с мирянами, отец, что нам делать, с богомолами? Вишь их тоже рать не махонька у нас, – заметил отец городничий Протасий. – Ртов-ту не мало, а кормить их чем будем? Вон злодеи все наши запасы пожгли на острове: только то и осталось на прокорм, что в стенах.

– Мирянам вольно итить, мы их выпустим из монастыря, – отвечал Никанор.

– А как бы им воинские люди какого дурна не учинили.

– Для чего дурно чинить? Миряне не мы. Да и то сказать: вон немец галанской Каролус Каролусович ономадни сказывал мне, что ему ноне здесь делать нечего стало и он хочет ехать домой, в Архангельской, да с ним и аглицкая немка Амалея Личардовна Прострелова собирается тож к себе в Архангельской. «А у нас-деи, говорит, у иноземных людей, есть проезжие грамоты, так нас-деи, говорит, государевы ратные люди пальцем не тронут». Так с ними вот мы и мирян отпустим, пушай едут кочами на Сумской либо на Кемской посад, либо через Анзерской скитец, кому какая дорога.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.